



ГЕНРИ ЛАЙОН
ОЛДИ

ГЕРОЙ

ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИН



Древняя Греция

Генри Олди

Герой должен быть один

«Автор»

1995

Олди Г. Л.

Герой должен быть один / Г. Л. Олди — «Автор»,
1995 — (Древняя Греция)

ISBN 978-5-389-08290-8

Миф о подвигах Геракла известен всем с малолетства. Но не все знают, что на юном Геракле пересеклись интересы Олимпийской Семьи, свергнутых, в Тартар титанов, а также многих людей – в результате чего будущий герой и его брат Ификл с детства стали заложниками чужих интриг. И уж конечно, никто не слышал о зловещих приступах безумия, которым подвержен Великий Геракл, об алтарях Одержимых Тартаром, на которых дымится кровь человеческих жертв, и о смертельно опасной тайне, которую земной отец Геракла – Амфитрион, внук Персея – вынужден хранить до самой смерти и даже после нее...

ISBN 978-5-389-08290-8

© Олди Г. Л., 1995

© Автор, 1995

Содержание

Книга первая	5
Парод	5
Эпизодий первый	10
Стасим I	33
Эпизодий второй	36
Стасим II	54
Эпизодий третий	57
Конец ознакомительного фрагмента.	83

Генри Лайон Олди

Герой должен быть один

И вот прозвучал голос Змея:
– Смертный держит небо с богами. Что же тогда титаны?
И услышал:
– Мы не нужны. Не восстанут больше титаны никогда. Мир их кончен. На одном плече держит он небо.
– Только боги нужны? Крониды?
– Не нужны и боги. Он и богов побеждает. Неприкованный держит он небо, потому что он – Сила.
И угрюмо прохрипел Змей:
– Да, теперь я знаю Геракла...
Я. Голосовкер, «Сказание о Геракле»

Книга первая

Жертвы

«При всей убежденности современного человека в том, что боги Греции являются только продуктом фантазии и что они нигде и никогда не существовали, все эти боги встают перед нами – Зевс, Гера, Афина, Афродита, и даже меньшие боги, нимфы и сатиры – облеченными в плоть и кровь и столь живо, что требуется немало мыслительной энергии, чтобы освободиться от этого сверкающего видения».
В. Али (RE XVI, 1376, s. v. Mythos)

Парод

1

Тьма.

Вязкая, плотная тьма с мерцающими отсветами где-то там, на самом краю, в удушливой сырости здешнего воздуха – приторно-теплого и в то же время вызывающего озноб.

Багровые сполохи.

Кажется, что совсем рядом, рукой подать, проступают очертания то ли замшелой стены, то ли утеса... нет, это только иллюзия, тьма надежно хранит свои тайны от непосвященных...

Впрочем, от посвященных она хранит свои тайны не менее надежно, обманывая глупцов видимостью прозрения.

Гул.

Далекий подземный гул – словно дыхание спящего исполина, словно ропот гигантского сердца, словно безнадежный и бесконечный стон мириадом теней во мгле Эреба...

Ровный шелест волн. Да, это он. Это катит черные воды река, которой клянутся боги, – вечная река, незримая и неотвратимая, без конца и начала; и по берегам ее качаются бледные венчики асфodela.

Тьма.

Сполохи.

¹ Парод – вступительная песня хора в античной трагедии.

Знобящая духота.
Рокот воды.
Все.

* * *

– Мы пришли, Средний. Садись. Дальше идти необязательно – нет ушей, способных подслушать нас здесь.

Что-то заворчалось во мраке, и земля содрогнулась.

– Ну и место ты выбрал, Старший...

– Выбирал не я. Выбирал ты. Ты и Младший. Я взял то, что осталось. И, кроме того, ты знаешь более безопасное место? Я – нет.

– Ты прав, брат. Перейдем к делу – мне уже не терпится уйти отсюда.

– Многим не терпится. Но – терпят.

– Я – не многие, Старший. И я не люблю двусмысленностей. Поэтому скажи прямо, без обиняков – тебе известен последний замысел Младшего?

– А ты как думаешь?

– Ты опять прав. Иногда это раздражает... Конечно, тебе все известно. Но ты подумал, к чему это может привести?

– Мне частенько приходится думать, Средний, – обстановка располагает...

Лица говорившего (если, конечно, у него есть лицо) не видно, но тон ответа не оставляет сомнений в том, что Старший сейчас саркастически усмехается.

– Тогда ты должен понимать, как опасна эта идея, воплотись она в жизнь! Младший боится потерять власть, он всегда боится потерять власть, и судорожно придумывает себе новое... новое оружие, а мы по-прежнему помалкиваем и закрываем глаза на возможные последствия! Раньше это было допустимо – не тот размах, не та мощь, да и без нас, без Семьи...

– Вот именно, Средний, – без нас! Сами по себе Полулюди способны лишь уничтожать подобных себе, и не более... Зато с нами – о, с нами, как выяснилось, они способны на многое! Из них вышли великолепные Мусорщики! И ты, Средний, ты сам с огромным удовольствием плодил героев-ублюдков, не заботясь никакими соображениями! Не так ли, Морской Жеребец?! Ну скажи, скажи еще раз – ты прав, брат!

– Прекрати!

В голосе Среднего угрожающе рокочет море – штормовое, страшное, пенящее косматые гребни волн.

Тьма.

Сполохи.

Знобящая духота.

Все.

– Не зли меня, Старший. Я не за этим пришел сюда. И я не хочу ссориться с тобой. Мы всегда находили общий язык – все: и ты, и я, и Сестры. Все, кроме Младшего. Вот и сейчас – не слушая никого, он намерен породить Мусорщика-Одиночку! Ему мало молний – он хочет живую молнию! И если это Младшему удастся...

– Надеюсь, что удастся, – бормочет Старший, но Средний делает вид, что не слышит.

– ...не придется ли нам платить слишком дорогую цену за безрассудство и властолюбие Младшего?! Вспомни одного из первых – того, кто убил Медузу, младшую из Горгон! Вспомни Персея!

Старший молчит.

Старший долго молчит.

– Ты действительно любил ее, Средний? – вдруг спрашивает он.

Средний не отвечает.

– Любил, – уверенно продолжает Старший, и сполохи подмигивают издали, изгибаясь и пульсируя. – Только от большой любви у Медузы могли родиться такие дети, как Пегас и Хрисаор Золотой Лук. Ты любил ее, Черногривый! И поэтому возненавидел Персея со всем его потомством! Возможно, если бы Младший пошел сегодня не к женщине из рода Персеидов, а к любой другой, ты бы...

– Не говори глупостей, Старший! Я далек от личных счетов – дальше, чем ты думаешь! Хотя ничего не забываю и не прощаю обид. А вот ты, ты помнишь, каким это было потрясением для всей Семьи – узнать, что и подобных нам можно убить навсегда?! Что Мусорщик, дрянь, Получеловек способен на то, чего не может ни один из Семьи?! Это ты помнишь?!

– Помню, – глухо отвечает Старший.

– Тогда догадываешься ли ты, о чем стал задумываться тот же Мусорщик Персей к старости?

– Догадываюсь ли я? – смеется тьма, и невесел ее смех. – Я ЗНАЮ! Я сам спросил его об этом, когда он пришел ко мне. Кровь жертвенной коровы подогрела Персею память, а терять ему было уже нечего – он все потерял. «Ни о чем не жалею, – сказал он, и я вздрогнул, когда увидел его улыбку, – ни о чем, кроме одного... Не следовало мне отдавать Алалкомене² голову Медузы. А если уж отдавать, то пусть взглянули бы друг другу в глаза. Как-никак родня... Ответь, Владыка, – посмел бы ты тогда послать за мной Таната?³» И я ничего не ответил ему, Средний! Я молчал, а он улыбался...

Тишина. И только черная вода Стикса плещет о подножие Белого Утеса Забвения, невидимого во мраке, словно смывая с него горечь последних слов Владыки.

– А он улыбался, – повторяет Средний. – Улыбался. Здесь. И после этого ты не хочешь препятствовать рождению Мусорщика-Одиночки? Странно... очень странно. Стареешь, Владыка?

– Что ты предлагаешь, Средний?

– Для начала – поговорить с Младшим. Убедить его не делать этого. Мойры⁴ еще не спряли нить – значит, все обратимо. Двоих Младший, может быть, и послушает...

– Тебя одного, выходит, уже не послушал. Не будь наивен, Средний, – ты не хуже меня знаешь Зевса! Если он что-то решил, его не отговоришь, хоть мир наизнанку выверни.

– Увы, Старший, – вздыхает море. – Не отговоришь. Более того, он совершает ЭТО как раз в данный момент. Ни с кем не посоветовавшись!

– Разве он когда-нибудь с кем-то советовался? Даже когда он поднял руку на отца – он сделал это сам, а Семья лишь присоединилась...

Средний гулко вздыхает еще раз.

– Младший стал опасен, – говорит он с затаенной ненавистью, и кажется, что сейчас эта ненависть разорвет сгустившийся мрак ослепительно белой вспышкой.

– Младший стал опасен. Он зарвался! Пора сместить его – и положить конец очередным безрассудствам! У меня есть достаточная поддержка Семьи...

– Но она недостаточна, чтобы ты мог открыто выступить против Младшего.

– А ты? Ты присоединишься ко мне?!

Тьма.

Сполохи.

Тьма.

² Алалкомена – одно из прозвищ богини Афины, дочери Зевса и Метиды; прозвище Паллада она получит позднее, победив гиганта Палланта и обтянув его кожей свой щит.

³ Танат – Смерть, брат-близнец Сна-Гипноса, сын Нюкты-Ночи.

⁴ Мойры – три богини судьбы: Клото – Пряха, Атропос – Неотвратимая, Лахесис – Жребиедательница. Досл. «мойра» – «участь».

– Ты редко спускаешься ко мне, Средний, – почти беззвучно отзывается тьма. – Очень редко. Иначе ты знал бы, что гекатонхейры⁵ все с большим трудом сдерживают напор из Тар-тара. И рано или поздно Сторукие могут не выдержать. Вот тогда я буду рад любому союзнику: хоть одному из Семьи, хоть Получеловеку, хоть Мусорщику-Одиночке – лишь бы он умел убивать навсегда. Младший – тиран и самодур, но в этот день он будет первым из бойцов. А ты, Средний, не захочешь ли ты отсидеться в своих глубинах? Не обижайся, это я так... Короче, я бы не советовал тебе слишком беспокоиться о будущей судьбе Мусорщика-Одиночки. Он смертен – и этим все сказано; во всяком случае, для меня. Беспокоиться надо о тех, что копят силы там, внизу, в Тартаре. Ну а ваши претензии на власть меня не касаются. Я к власти не рвусь, мне хватает того, что я имею. И я не стану доносить Младшему о нашем разговоре.

– Спасибо хоть на этом, – недовольно бурчит Средний. – Ох, Старший, спохватишься – да только поздно будет. Смотри не раскайся после...

– Смотрю, смотрю. И ты смотри не ушибись – я-то здесь вижу, а вот ты... Эх, предупредал же! Тут тебе Эреб, тут землю сотрясать опасно...

* * *

Когда тяжелые шаги Среднего затихли в отдалении, Старший в сердцах сплюнул и про-бормотал:

– Дурак ты, братец! Прямой, как копьё, – вот и летишь, не сворачивая, куда бросили! Гера крутит тобой, как хочет, а ты до сих пор считаешь, что дело обстоит наоборот... Ох, Черногривый! Ума бы тебе хоть малую толику...

Что-то прошелестело во влажной мгле, отливающей багрянцем, – впрочем, только сейчас стало ясно, что мрак после ухода Среднего заметно поредел, превратясь в сумрак.

– Ты, Лукавый?

– Я, дядя.

– Подслушивал?

– Я? Никогда.

– Ясно. И много услышал?

– Достаточно, дядя.

– Наверху был?

– Был.

– И... что там?

– Свершилось. Только что папа вернулся в Семью. И уставшая Нюкта-Ночь скоро уйдет от Фив.

Некоторое время Старший переваривал услышанное.

– Лукавый?!

– Да, дядя?

– Знаешь что, Гермий, – слетай-ка ты к Мойрам! Выясни, что они там направили в приданое будущему новорожденному. Изменить судьбу мы не в силах, но знать... знать ее не мешало бы. Мало ли...

– Слушаюсь, Владыка! – фальшиво выкрикнул Лукавый писклявым голоском, отчего Старший скорее всего поморщился – потому что сумрак мгновенно почернел, становясь прежним мраком.

– Шутник... Сто раз говорил тебе – ерничать будешь при посторонних. Или при отце. А со мной – не надо. Не люблю. Ладно – лети, малыш.

⁵ Гекатонхейры – Сторукие, первенцы Урана-Неба и Геи-Земли; Бриарей, Гий и Котт.

* * *

Гермия не было довольно долго, и Старший уже начал недоумевать, куда этот плут запропастился, – когда наконец вновь раздался шелест и слегка запыхавшийся посланец шлепнулся на берег Стикса рядом со Старшим.

– Странные дела, Владыка, – Лукавый был необычайно серьезен, и Старшему на этот раз не пришлось в голову перебивать племянника. – Прилетаю я, значит, к Мойрам, спрашиваю – а те только руками разводят. Ничего, мол, нет пока, нить не спрялась, жребий не вынут и уж тем более не записан. Я, понятное дело, давай допытываться – думаю, скрывают что-то старухи! – а тут глядь, у Клото нить пошла! И не просто нить, а двойная да крученая...

– Близнецы, – прошептал Старший.

– Близнецы, – тут же согласился Лукавый. – Но чтоб нить крученая – такого и сами Мойры не помнят! Короче, раскрутили мы ее кое-как...

– Вы? – буквально подскочил Владыка.

– Мы, – с достоинством подтвердил Гермий. – Я тоже помогал! Только все зря – под конец она опять скрутилась. Так что когда два жребия вытянули – не смогли выяснить, кому какой. Впрочем, чего там выяснять, черепки-то почти одинаковые были...

– А жребий, жребий-то какой?! – чуть ли не выкрикнул Старший.

И тогда Лукавый склонился к самому уху Владыки и что-то прошептал.

Сполохи озадаченно мигнули и погасли.

Эписодий первый

1

...Это случилось за два часа до рассвета, в то проклятое время, когда безраздельно властвует легкокрылый Сон-Гипнос, сын многозвездной Нюкты; и часовые семивратных Фив клюют носами, всякий раз вздрагивая и озираясь по сторонам, – а Гипнос неслышно смеется и брызжет маковым настоем из сложенных чашечкой ладоней в лицо нерадивым караульщикам.

Это случилось за два часа до рассвета.

Издалека, со стороны долины Кефиса, донесся еле слышный рокот – сбивчивый, напоминающий звук осыпи камней на склонах Киферона – и понесся, приближаясь и усиливаясь, постепенно заглушая стрекот цикад, эхом отдаваясь в вершинах кипарисов и заставляя вспугнутых птиц тревожно хлопать крыльями.

– Ишь, гонит, – проворчал Телем Гундосый, старший караульщик поста у юго-восточных ворот Фив, и плотнее закутался в шерстяную накидку.

– Кто, дяденька? – робко поинтересовался сидевший рядом с Телемом юноша, почти мальчик, моргая длинными девичьими ресницами.

– Да почему я знаю – кто? – хмуро отозвался Гундосый, и юноша поежился, вслушиваясь в надвигающийся рокот, а затем ближе придвинул к себе короткое копье с листовидным жалом.

Телем покосился на юношу, хмыкнул, почесал свою проваленную переносицу и скорчил гримасу, которую с большой натяжкой можно было бы назвать ободряющей.

– Не бойсь, дурашка, – в голосе Телема пробились отеческие нотки. – Всякий раз за копье хвататься станешь – прикажу гнать тебя из караульщиков. Лучше слушать учись...

– Так что ж тут слушать, дяденька? – недоуменно пожал плечами юноша. – Рокочет и рокочет... ровно чудище на сотне копыт скачет.

– Уши растопырь! – прикрикнул на глупого юнца Гундосый. – Какой я тебе дяденька?! Я тебе, обалдую, господин старший караульщик! Понял? Чудища ему мерещатся! Вот как взгрею сейчас!.. Чудо стокопытное...

– Отстань от парня, Гундосый, – лениво отозвался третий часовой – коренастый бородач в кожаном панцире с редкими бронзовыми бляхами. До того бородач сидел, привалившись к стене, и молчал, бездумно вертя в пальцах сорванный стебелек; теперь же, прискучив этим занятием, решил вступить в разговор.

– А ты, Филид, не лезь, когда не спрашивают! – отрезал Телем, в сердцах ударив кулаком по колену. – Парень второй месяц в караульщиках – пора бы и научиться чудище от колесницы отличать! Ох, разбалуешь ты его...

– Колесница? – юноша удивленно поднял брови домиком. – Так это... надо бы шум подымать, дяденька господин старший караульщик!

– Зачем?

– Как «зачем»? Раз колесница, значит, это... враги!

Бородач расхохотался и прикусил стебелек крепкими зубами, а Телем отвесил юноше несильный подзатыльник.

– Враги... Дубина ты сучковатая! Враги на одной колеснице не приезжают и не гонят так по незнакомой дороге, да еще ночью! Это кто-то свой, здешний, кто и путь знает, и поводья не впервые держит. Вот только кто? Ты как полагаешь, Филид?

– Я... – начал было бородачатый Филид, но тут рокот стал совсем близким, и Филид резво вскочил на ноги, не дожидаясь приказа Гундосого, и стал по лестнице карабкаться на стену, которая в этом месте была не выше пятнадцати локтей.

Он оказался на стене как раз вовремя.

Тяжелая воинская колесница, запряженная парой взмыленных коней, вылетела из-за поворота дороги, зацепив и смяв растущий на обочине куст колючего маквиса, – и плохо различимый в предрассветных сумерках возница мощным рывком натянул поводья, сдерживая конский бег и заставляя животных остановиться у самых ворот.

– Открывай, засони! – низкий голос возницы громом раскатился по округе, и юноша испуганно покосился на Телема, а тот повел могучими плечами, словно разминаясь перед кулачным боем. – Эй, город проспите! Живо!

– До утра обождешь, – бросил со стены Филипид. – Приказ басылея⁶ Креонта – никого в город не пускать, пока не рассветет. Ясно?

– Ты что же, не узнал меня, Филипид?

Голос новоприбывшего уже не напоминал гром – нет, скорее он был теперь похож на рычание матерого льва, пока что сытого, но в любую минуту готового проголодаться.

Филипид еще только думал да вглядывался, приложив ладонь козырьком ко лбу, а Телем уже сорвался с места и принялся суетливо отпирать ворота.

– Сейчас, господин мой, – Гундосый возился с засовом, не желающим поддаваться, и юноша с удивлением следил за старшим караульщиком, поскольку никогда не видел его таким. – Я уже... уже...

Створки ворот дрогнули, заскрипели – и колесница медленно въехала в открывшийся проем. Ставший необыкновенно услужливым Телем кинулся чуть ли не под колеса и в последний момент успел перехватить брошенные ему поводья.

– С возвращением, господин мой! – Гундосый низко поклонился, прижав корявую лапищу к сердцу. – Ох, лошадок-то вы загнали... ну ничего, я их вывожу, высушу, будут как новенькие! Вы уж не беспокойтесь, господин мой...

Приехавший легко спрыгнул с колесницы, всплеснув полами широкого плаща, и дружелюбно хлопнул Гундосого по плечу – отчего дюжий караульщик изрядно качнулся, но устоял, щерясь счастливой ухмылкой.

– Колесницу после смены к моему дому подгонишь! – приказал ночной гость. – Получишь пифос вина и одежду на всех троих. Да, вот еще что – за брата не беспокойся. Жив он, к полудню дома будет – я приказал Панопею Фокидскому на рассвете выступить к Фивам. Хорошую добычу мы на Тафосе взяли, всем хватило! А брат твой – воин добрый, таких при дележе не обходят. Ну, прощай, караульщик Телем!

И широким походным шагом двинулся прочь по улице, ведущей к центру города и Кадмее, внутренней крепости.

– Помнит, – довольно буркнул Телем, начиная выпрягать храпящих лошадей. – И меня помнит, и брата, и всякого воина в лицо... Когда мы с ним еще в первый раз на телебоев ходили – а все помнит. Одно слово – герой! Вот скажи он: пошли, Телем, вдвоем на лапифов⁷ – пойду! Клянусь Зевсом Додонским, пойду! Говорит, брат к полудню вернется... ох, и напьемся же неразбавленного!

– Да кто ж это был-то, дяденька? – заикнулся было юноша, но Гундосый его не услышал, погруженный в радостные мечты о предстоящей попойке.

– Амфитрион это был, – вместо Телема ответил спустившийся со стены Филипид. – Амфитрион Персеид,⁸ друг басылея Креонта и гордость всей Эллады. Понял, недоросль?

⁶ Басылей – правитель города. (Аналог – удельный князь.)

⁷ Лапифы – одно из выродившихся титановых племен; древолуды.

⁸ Персеид – потомок Персея, в данном случае – внук (ср.: Зевс – Кронид (сын Крона), Автолик – Гермесид (сын Гермеса) и т. п.). Иногда использовалось окончание – ад (Алоад, Гелиад и т. п.).

– Понял, – закивал юноша. – Амфитрион Персеид, гордость Эллады. Который на родной племяннице женился, а потом своего тестя дубиной убил. Как не понять – гордость и вообще...

– Ну что возьмешь с дурака?! – Филид почесал затылок и сплюнул от огорчения. – Не буду я больше за тебя заступаться перед Телемом! Тестя убил... Он же случайно! И потом – я своего тестя давно уже убил бы! Достал до не могу, пень старый!.. А вот не убиваю же! Потому что не герой. Был бы я герой...

Юноша еще раз кивнул, не слушая Филида и глядя на улицу, по которой совсем недавно шел герой Амфитрион Персеид.

Улица была пуста, но юноше все мерещились крылья дорогого плаща и уверенная поступь ночного гостя, похожего на бога.

Веселого, бесстрашного и беспощадного.

2

Пройдя через двор, Амфитрион легко взбежал по ступенькам и вошел в дом, который покинул почти год назад, уйдя в поход на тафийцев.

«Стоили ли этого все захваченные острова?» – подумал он, приближаясь к опочивальне, и невесело улыбнулся, так и оставив этот вопрос без ответа. Спавшая на пороге девчонка-рабыня не проснулась при его появлении, свернувшись калачиком и сладко посапывая, – и пришлось сперва пнуть ее ногой, а потом зажать рот, чтобы она с перепугу не разбудила всю челядь своим визгом. Когда до глупой девчонки дошло, что никто на нее не покушается (чем она была немало огорчена), а это просто вернулся долго отсутствовавший хозяин, – она проворно убежала в глубь дома, а Амфитрион расстегнул фибулу плаща, дав ему упасть на пол, шагнул через порог и замер, как мальчишка.

У него были женщины. У него, тридцатитрехлетнего мужчины, было множество женщин – и до Алкмены, и после нее; он знал все уловки жриц Афродиты, он знал случайную страсть дочерей и сестер тех гостеприимных хозяев, в чьих домах ему приходилось останавливаться, он испытал острое наслаждение от ужаса и боли пленниц, зачастую еще не достигших женского совершеннолетия, – но никогда и никого он не любил так, как эту разметающуюся на ложе женщину, дочь своего дяди Электриона, дочь своей родной сестры Анаксо, свою племянницу, двоюродную сестру и жену одновременно.

До беспамятства.

Неистово и самозабвенно.

Той любовью, которую боги не прощают.

Амфитрион резко выдохнул воздух, ставший вдруг болезненно-жгучим, и упал на колени подле ложа, срывая и отшвыривая в сторону льняной хитон, ткнувшись лицом в жаркую вседозволенность и не успев удивиться тому, что постель оказалась смятой и разбросанной, как если бы в ней приносились обильные жертвы Киприде Черной, владычице плотских утех, или если бы Алкмену всю ночь мучили кошмары.

Он не думал и не удивлялся.

Он был неловок и жаден и непривычно тороплив.

Он – был.

...Когда способность рассуждать вернулась к нему, он устало откинулся на подушки, разбросав мощные бугристые руки в шрамах и бездумно глядя в потолок.

Что-то мешало расслабиться.

Не так представлял он себе миг возвращения. Слишком обыденно все вышло, слишком быстро и пресно, и неудовлетворенность занозой сидела в мозгу, мешая успокоиться и сказать самому себе: «Ну, вот я и дома!»

Тяжелая ладонь Амфитриона, покрытая мозолями от копы и рукояти меча, машинально легла на грудь так и не проснувшейся окончательно жены.

Грудь была влажной и горячей.

– Хвала небу, – сонно пробормотала Алкмена, слегка выгибаясь под прикосновением. – А говорил – рана, мол, копьем сунули по-глупому... вот и не выходит, как раньше. Вышло наконец... Как раньше. Врал небось про рану? Пленницы измучили, да?

Сперва он не понял.

– Какая рана? – спросил он, приподнимая голову.

Алкмена не ответила. Она дышала ровно и глубоко, и спутанная грива ее черных волос слабо поблескивала в полумраке опочивальни.

– Какая рана-то? – раздраженно переспросил Амфитрион, холодея от странного предчувствия, что сейчас в его судьбе что-то рвется, только никто этого не знает, и изменить уже ничего нельзя.

– Твоя рана, какая еще, – не открывая глаз, ответила Алкмена с еле заметной хрипотцой в голосе, так волновавшей его раньше. – Ты ведь чуть ли не с полуночи маешься... раз пять начинал, и так и этак – а потом зубами скрежещешь и бегаешь туда-сюда! Ну, спи, спи, тебе отдыхать надо... не ходи ты никуда больше, милый, давай поживем как люди... я тебе сына рожу... двоих... и дочку...

Он дождался, пока Алкмена уснет совсем, потом поднялся и вышел во двор в одной набедренной повязке.

Небо было серым и блеклым.

Амфитрион Персеид смотрел в небо, и лишь враги, убитые им во многих сражениях, могли бы подтвердить: да, именно такими глазами он смотрел на нас, нанося последний удар. Не зря шептались люди, что у Персея-Горгоноубийцы и всего его потомства во взгляде осталось нечто от взгляда Медузы, превращавшей живое в паросский мрамор.

– Кто бы ты ни был, – глухо прорычал Амфитрион, и на шее его вздулись лиловые вены, – кто бы ты ни был – будь проклят! Слышишь? Проклят!

Потом он упал на колени, как падал перед ложем жены, и ткнулся лбом в песок двора, остывший за ночь.

Испуганная рабыня выглянула из дома, беззвучно ойкнула и спряталась обратно.

3

– Я не верю своим глазам! Клянусь копытами Силена! Ты ли это, друг мой, великий и достославный лавагет⁹ Амфитрион?! Вина! Вина мне и моему другу, прамнейского красного и кувшин холодной воды! Герои пьют по-колхски, не разбавляя, а воду льют себе на голову после попойки!.. Забирайся сюда, Амфитрион, – здесь, на этом возвышении, чувствуешь себя ближе к небу, а я помню твою любовь ко всему возвышенному... Нет, это не твоя любовь, а Кефала из Торики, но твои вкусы я тоже помню, не будь я Эльпистик Трезенец! Я все помню, все...

«Помнишь, помнишь, но совершенно необязательно орать об этом на всю таверну», – с легкой досадой подумал Амфитрион, забираясь на возвышение и присаживаясь на табурет рядом со своим бывшим союзником по тафийскому походу Эльпистиком Трезенцем – дородным рыжебородым детиной в хитоне из дорогой ткани, первоначальный цвет которой уже было невозможно выяснить, до такой степени одежда была залита вином и жиром.

Возле Трезенца на столике стоял наполовину опорожненный кувшин и валялась обгрызенная бычья ляжка, словно побывавшая в пасти у льва.

⁹ *Лавает* – восначальник, полководец.

– Вина! – рывкнул Эльпистик и грохнул кулачищем о край стола. Кувшин подскочил, упав на бок, и остатки его содержимого вылились на пол. Эльпистик посмотрел на образовавшуюся лужу, вздохнул и уже тише добавил:

– Ну, тогда тем более – вина...

Амфитрион прекрасно знал, что обижаться на Эльпистика, равно как и воспринимать его всерьез, глупо и бесполезно. Трезенец всегда был таким, хоть трезвый (что случалось нечасто), хоть навеселе – громогласный, непосредственный и простой, как угол стола.

Впрочем, воевать Эльпистик умел. А предавать – не умел. Большого от союзника и не требовалось. В тафийском походе Амфитрион и Эльпистик успели сдружиться, и необузданное бешенство Эльпистика отлично дополнялось в бою холодной расчетливостью Амфитриона – так что последний был даже отчасти рад этой случайной встрече, позволявшей забыться и окунуться в бездумный солдатский разгул.

Два с лишним месяца, прошедшие после возвращения, были для Амфитриона подобны пытке. Он с головой погружался в дела, лично следил за дележом добычи и выделением доли семьям павших воинов, почти до самого Копайдского озера проводил пастухов со стадом коров – ежегодной данью воинственному городу Орхомену, данью, которую сам Амфитрион считал унижительной, но опасался напрямик заявить об этом Креонту Фиванскому. Потом он заказал у оружейников новый щит и дюжину копейных наконечников; домой возвращался поздно, был ласков с женой и каждую минуту боялся сорваться и ударить ее.

Наотмашь, как бьют хозяева дешевых шлюх-порн в портах, когда те утаивают часть выручки.

Он понимал, что Алкмена ни в чем не виновата.

Просто когда он глядел на нее, когда прикасался к ее телу, слушал ее стоны и прерывистое дыхание – он не мог избавиться от мысли, что вот так, искренне и самозабвенно, она отдавала себя тому, ночному, чужому, не сумев отличить мужа от бога.

А утром он вставал и уходил из дома.

Толстопузый хозяин уже спешил к ним с кувшином в одной руке – они были очень похожи, пузатый кувшин и разьевишийся хозяин – и посеребренным кубком в другой. Такой же кубок стоял рядом с Эльпистиком. Предназначалась дорогая посуда только для дорогих гостей, то есть для тех, которые не попытаются сунуть кубок за пазуху и втихомолку удрать с ним. Легкий ветерок, прохладный и в то же время пропитанный ароматами жарящихся туш, обдувал разгоряченные лица, мясо показалось Амфитриону неожиданно вкусным, а вино – отнюдь не таким дрянным, как предполагалось вначале; он устроился поудобнее, шум таверны и повседневные заботы странным образом переплелись, смешались и отодвинулись куда-то вниз – здесь, на возвышении, в искусственном одиночестве, Амфитрион действительно почувствовал себя ближе к небу и еще подумал, что рыжий Эльпистик и впрямь выбирает лучшие места, будь то в бою или в таверне...

Только тут он заметил, что Трезенец уже давно что-то ему рассказывает, и заставил себя сосредоточиться на собеседнике.

– И вот что я тебе скажу, дружище, – Эльпистик понизил голос, как ему казалось, до шепота, только шепот этот вышел весьма и весьма громким. – Боги к нам явно благоволят! Понял?

– П-понял, – качнул тяжелой головой уже слегка захмелевший Амфитрион. – Боги к нам благоволят! А... а почему ты так решил? К прорицателю ходил, что ли?

– Да ты вспомни наш поход! Все битвы одна в одну! Хвала, конечно, Аресу, но и мы с тобой не плошали! Потом – колодцы, когда надо, попадались, и никто туда гнилого мяса не кидал; перебежчики к нам валом валяли, эта, как ее... Комето, дочка бацилея Птерелая, в тебя

влюбилась по уши, и весь Тафос нам как на ладошке... у-у, гнездо пиратское, правильно мы его!..

– А я ее потом убил, – хмуро отозвался Амфитрион, тщетно пытаясь вспомнить лицо тафийской царевны Комето. Крик ее помнил, когда лезвие меча без привычного сопротивления погрузилось в мягкий женский живот, кровь на белом пеплосе тоже помнил, а вот лицо почему-то не вспоминалось.

Никак.

– И молодец! – обрадовался Эльпистик, увлеченно размахивая бычьей костью. – Я еще Панопею говорю: слышь, Панопейчик, а Амфитрион у нас молодец! Правильно, мол, понимает – Тафос теперь все равно наш, никуда не денется, а отцеубийцу эту, змею тафийскую, не домой же везти?! Боги твою руку направляли, друг мой, истинно боги...

– А я ее потом убил, – не слушая Эльпистика, повторил Амфитрион, наливая себе из кувшина. – Живот у нее был... мягкий. А меч я после сломал. Зря, наверное...

– Конечно, зря, – Эльпистик попытался укунить кость, на которой совершенно не осталось мяса, и укусил-таки, но потом передумал и запустил ее в хозяина, возившегося внизу у очага.

– Зря! Мечи нам еще понадобятся... Не сегодня-завтра снова в поход пойдем. Мне знак недавно был! Оттуда!

И ткнул лоснящимся пальцем в небо.

– Знак? – заинтересовался Амфитрион. – Какой знак?

Эльпистик с заметным усилием наклонился к уху друга и трагически зашептал:

– Мою Энонию – ну, ты ее знаешь! – посетил сам бог войны Арес!

– Да ну?! – притворно удивился Амфитрион, поскольку действительно знал грудастую Энонию, жену Трезенца, и знал гораздо лучше, чем предполагал сам Эльпистик. А в памяти всплывало: ночь, сонная и равнодушно-отрешенная Алкмена, неприятный холод в груди и ее слова: «Хвала небу... вышло наконец... Пленницы замучили, да?» И песок, стылый песок двора, больно царапающий лоб, и вой, поднимающийся изнутри вой, из глубин, из таких бездн души, о которых Амфитрион никогда и не подозревал.

Кто же был у нее той ночью?!

– Да точно тебе говорю! – не унимался Эльпистик. – Энония теперь дитя от него носит! Жирная стала, брюхо выше носа... хрюкать скоро начнет.

– Какой месяц? – машинально осведомился Амфитрион, уставившись в кубок.

– Третий. А живот – как на шестом.

– И у моей – третий...

– Что, тоже Арес?

– Не знаю. Я, наверное... или Арес.

– А у меня – без сомнений! Он! Арес-Эниалий!¹⁰ Энония говорила – даже во время этого дела шлема не снимал. Почтил, значит. Вот только дура моя Энония – ничего с ней поделать не могу! Что ни ночь твердит: «Вот Арес – это да! Это было божественно! Истинно – бог... копыеносец! А ты – козел драный...» А что – я? Ну не копыеносец я – хотя до сих пор бабы не жаловались! Слушай, Амфитрион, пошли в поход! А то я сдохну, ее ублажая...

– Да брось ты! – неожиданно для самого себя сквозь зубы процедил Амфитрион. – Божественно, божественно... Знаем мы, как оно – божественно! Зубами скрежещут да по опочивальне бегают – и всей любви-то!

– Чего? – вытаращил глаза Эльпистик.

– Того! Того самого! По мужской части! Мы с тобой хоть и померем, зато померем мужиками, и через Ахерон нас мужиками повезут, а они так и будут дальше... я сам сколько раз

¹⁰ Эниалий – Воинственный; обычное прозвище бога войны Арея (Ареса).

богом назывался, когда к чужим женам бегал! То Аресом, то Гермесом, а то вообще какого-то Пантифлея-Речного на ходу сочинил...

– Нет, ты стой! – Эльпистик уцепил Амфитриона за плечо. – Ты погоди! Ты мне на богов не наговаривай! Тоже мне Пантифлей-Речной... Моя Энония после Ареса и ложиться со мной не хочет! Я уже и шлем надеваю, и щит беру – ни в какую! А ты говоришь – по мужской части...

– Говорю, значит, знаю! – совершенно забывшись, повысил голос Амфитрион. – Знаю! Ты Энонию свою хоть копьем люби после Ареса – а я знаю! У моей Алкмены тоже один из этих побывал! Из олимпийцев!

– Ну и?! – подался вперед Эльпистик.

– «Ну и?!» – передразнил его Амфитрион. – И ничего! Он уже и мною притворялся – глухо. Не вышло! Как возлег на ложе – так и ушел, не солоно хлебавши. Копьеносец! Копье – и то само не стоит, все падает. А тут как раз я вернулся – и за него, за олимпийца, расстарался! Еще удивлялся, дурак, что Алкмена такая... усталая, что ли? И постель вся перемятая...

– Так она ж у тебя в тягости! – непонимающе нахмурился Эльпистик. – Сам говорил!

– Говорил! В тягости – только моим ребенком! Моим! И только моим! Божественно! Ха!

– Ну а кто это был? – Эльпистик явно поверил рассказу, и теперь его в первую очередь интересовало: какое божество так позорно оскандалилось?!

– Не знаю, – Амфитрион припал к кубку и стал жадно пить, разбрызгивая вино.

– А на кого думаешь?

Ответить Амфитрион не успел. Подавившись вином, он судорожно закашлялся и, услышав треск, не сразу понял, что это сломалась ножка табурета Эльпистика. Трезенец вскрикнул, заваливаясь назад, взмахнул руками, словно собрался лететь, но удержать равновесия не смог и всей своей немалой тушей загремел с возвышения вниз.

Амфитрион ничего не мог сделать. Он сидел, кашлял и тупо смотрел, как Эльпистик валится спиной вперед, настолько неудачно, насколько это вообще было возможно, и затылком ударяется о торчащий из стены бронзовый крюк для вертелов.

Кашель как рукой сняло. Кровь резко отхлынула от лица Амфитриона, и багровый цвет его щек мгновенно сменился мертвенной бледностью, а на лбу выступили крупные капли пота.

– Эльпистик! Ты... ты жив?

На негнущихся ногах спустился Амфитрион с возвышения, где он еще недавно был ближе к небу, и склонился над распростертым на полу телом друга.

– Эльпистик...

Трезенец был мертв. Крюк заостренным концом пробил его затылок и наполовину вошел в мозг, так что Эльпистик умер сразу – наверное, даже испугаться не успел.

Впрочем, он и не умел – пугаться.

А теперь и не научится никогда.

Вокруг уже собирались люди, суетился и всхлипывал горбатенький мальчик-раб из поварят, кто-то побежал за лекарем, хотя в этом не было никакой нужды; рядом причитал хозяин, сокрушавшийся не столько по нелепо погибшему гостю, сколько по возможной потере прибылей своего заведения – ибо многие ли пойдут пить в заведение, пользующееся дурной славой?..

– Как же так? – растерянно забормотал Амфитрион, пятясь назад. – Как же так? Сколько сражений – и ни царапины! А тут...

– А вы бы меньше болтали, почтеннейший, – прошептал на ухо Амфитриону чей-то незнакомый и неприятный голос. – Меньше болтайте – дольше проживете. А станете язык распускать – и под вами что-нибудь обвалиться может! Ни с того ни с сего. Надеюсь, вы понимаете, о чем я?

Когда до Амфитриона наконец дошел смысл сказанного, он повернулся – рывком, всем телом, как поворачивался в щитовом бою, – но увидел лишь спину в грязной хламиде с капю-

поном, скрывающуюся в толпе. Рванулся было следом – где там, таинственного советчика и след простыл.

...Домой Амфитрион вернулся хмурый и абсолютно трезвый. И крепко задумался. Было о чем.

4

Несколько дней после этого прискорбного происшествия Амфитрион ходил как громом ударенный: не слышал, что ему говорят, то и дело натыкался на столы и лежа, ронял всякую домашнюю утварь; говорил мало и все больше не по делу, почти не ел, зато много пил, не пьянея; часто застывал на месте, подолгу глядя в небо (или в потолок) и беззвучно шевеля губами...

Бедная Алкмена совсем извелась, видя, что творится с мужем, и будучи не в силах ничем помочь, – но дней через десять здоровая натура Амфитриона взяла свое, и он стал понемногу приходить в себя. Вспомнил о накопившихся за это время делах, приказал для начала выпороть двоих нерадивых рабов, чем сразу же превратил их в радивых и даже очень, – короче, внук Персея и сын Алкея Микенского быстро превращался в прежнего деятельного, громогласного и властного Амфитриона; и Алкмена вздохнула с облегчением.

Хвала небесам, не забрали боги разум у мужа!

Впрочем, никто и не собирался забирать разум у Амфитриона – богам, похоже, хватало и своего, а если и не хватало, то они тем более не додумались бы позаимствовать сей ценный (или не очень) предмет у мужа прекрасной Алкмены.

Просто Амфитрион Персеид, которого раньше звали изгнанником, а потом – героем, впервые в жизни всерьез задумался над тем, чего стоит его жизнь в этом мире – да и любая жизнь вообще. Не столько сама смерть Эльпистика потрясла Амфитриона – на своем веку он повидал достаточно смертей, более нелепых, чем эта, и более страшных, и всяких, – сколько обстоятельства этой гибели. Визит к Алкмене осрамившегося в итоге божества; его, Амфитриона, глупый и неосторожный рассказ – и крюк в затылке Трезенца... и голос, неприятный голос оборванца в грязной хламиде с капюшоном, предупреждавшего о пагубных последствиях чрезмерной болтливости.

Но все равно – долго думать, особенно когда думай не думай, а толку никакого, Амфитрион не мог. А тут еще, как на грех, пришло сообщение с пастбищ в ближайшей долине Кефиса, что там-де объявились разбойники, которые воруют коз и овец.

Амфитрион немедленно вооружил часть своей челяди – выбрав людей проверенных и побывавших в бою – и выступил на юго-восток в сторону Кефиса, дабы пресечь разбой.

Правда, по приезде почти сразу выяснилось, что разбой есть, а разбойников нет; вернее, не то чтобы совсем нет и козы действительно пропадают – но только потому, что пастыри стад, сиречь пастухи, очень любят мясо. И любят его чаще, чем положено. Особенно под молодое вино, которое в тех местах чуть ли не в ручьях текло.

Мяса было много. Оно мекало, блеяло и паслось совсем рядом. Мясо было хозяйское и вкусное – в чем заключалось противоречие. Поэтому пастухи всякий раз честно боролись с искушением – и всякий раз искушение побеждало...

Выяснив это, Амфитрион вместо того, чтобы прийти в ярость, как ожидали его спутники, долго хохотал, потом велел всыпать плетей провинившимся пастухам (в основном за неумение врать) и взыскать съеденное из полагавшейся им части приплода; после чего отправился в обратный путь.

Пастухи глядели ему вслед, почесывали вспухшие спины и дивились легкому наказанию.

При виде мяса их тошнило...

А Амфитрион, вернувшись в Фивы, напрочь забыл и о пастухах, и об убытках, едва ему довелось увидеть свой дом.

Вся его восточная часть, где располагался гинекей – женские покои, носила на себе явные следы огня. О том же говорил закопченный дверной проем, покрытый слоем грязной сажи двор, растрескавшаяся и почерневшая черепица на крыше, где сейчас возилось несколько рабов, перекрывая крышу заново.

Амфитрион задохнулся, ускорил шаги, потом побежал...

Алкмена, слегка прихрамывая, вышла ему навстречу из двери мегарона – центрального зала для мужских застолий и деловых встреч, огороженного невысокой каменной балюстрадой; она спустилась по ступенькам вниз, и Амфитрион с невыразимым облегчением привлек жену к себе. Он гладил ее шелковистые волосы, кажется, что-то говорил и никак не мог остановиться, чувствуя, как бьется ее сердце, как дыхание вздымает грудь Алкмены, – он не в силах был отпустить ее, особенно сейчас, после пережитого потрясения, и лишь одна мысль билась в голове: «Хвала Зевсу – жива!.. жива... жива!..»

Почему хвала именно Зевсу, а не кому-то другому – об этом он не думал.

Рассказ о случившемся он выслушал позже, и лицо его при этом не выражало ничего.

...Крики «Пожар!» раздались среди ночи. Видимо, кто-то опрокинул масляный светильник, загорелся ковер – ну а там пошло полыхать.

Спросонья Алкмена не сразу сообразила, в чем дело, но непрекращающиеся вопли «Горим!» и дымный чад, уже просачивающийся в щели, быстро сообщили ей, что случилось. Поспешно завернувшись в пеплос,¹¹ Алкмена бросилась к выходу, но складка ковра словно живая скользнула ей под ноги, лодыжку пронзила острая боль... вокруг стелился дым, в горле першило, голова шла кругом... Алкмена с предельной ясностью понимала, что встать не может – и либо сгорит, либо задохнется в дыму. Она закричала из последних сил – и провалилась в бездонный дымный колодец, на быстро приближавшемся дне которого...

Ее успели вынести наружу два вольноотпущенника из прислуги, выломавшие дверь в гинекей. Почти сразу ударил ливень, сбивая и гася хищные языки пламени, вырывавшиеся из-под крыши, – и под дождем Алкмена пришла в себя. Дождь грузно топтался по умирающему огню, запах свежести быстро вытеснял из легких удушливую гарь... к счастью, никто не погиб, да и особых убытков пожар тоже не принес.

Правда, кто перевернул роковой светильник и был ли этот светильник вообще – этого выяснить так и не удалось.

5

Крышу починили довольно быстро, гинекей привели в порядок, и несколько дней Амфитрион буквально не отходил от своей жены, стараясь все время находиться рядом и не выпускать Алкмену из дома.

Однако после пожара, закончившегося в конечном счете благополучно, ничего особенного не происходило, так что Амфитрион постепенно успокоился и, когда Алкмена выразила желание с двумя служанками отправиться на базар за покупками, он возражать не стал – да и с чего бы ему возражать?

Вот они и пошли – Алкмена и две смуглые широкобедрые рабыни-финикиянки.

Базар, находившийся в нижней части города, встретил женщин шумной многоголосицей, криками зазывал, пестрым разноцветьем одежд и оттенков цвета кожи; ну и в первую очередь

¹¹ Пеплос – женское покрывало.

всевозможными ароматами – от благоухания персиков и миндаля до резкого запаха свежей рыбы.

Сперва Алкмене захотелось фруктов. Она долго выбирала приглянувшиеся ей гранаты, чей разлом блестел рубиново-красными, сочными, сладко-терпкими зернами; потом купила сушеной дыни. Оказавшись рядом с рыбными рядами, она замедлила шаг, принялась и раздумала брать рыбу, свернув к мясникам, – где на узловатых шестах были развешены разные копчености, к которым Алкмена в последнее время приистрастилась.

Рабыни покорно следовали за хозяйкой.

Вот тут-то к ним и привязался нищий. Невысокий, тощий, в грязной до неимоверности хламиде с капюшоном, из-за которого лицо попрошайки все время оставалось в тени.

– Подайте убогому калеке! – завывал нищий за спинами женщин, хватая рабынь за одежду (выглядел нищий при этом вполне здоровым). – Подайте ради Зевса! И ради Аполлона! И ради Афины! И Диониса! И Гермеса! И Артемиды! И... и всех остальных! Ну подайте! Ну что вам стоит?! Подайте!..

Богов было много, и оборванец мог перечислять их бесконечно, поэтому Алкмена попыталась отвязаться от попрошайки, сунув ему самый мелкий гранат – и зря. Нищий тут же понял, что здесь есть чем поживиться, и заканючил с новой силой.

Тогда Алкмена попробовала не обращать на нищего внимания – и, как ни странно, ей это удалось. Тем более когда она остановилась возле шестов с фессалийскими копченостями. Алкмена долго и придиричиво выбирала кусок получше, а чернобородый толстяк-продавец непрерывно расхваливал свой товар, косясь на завидные бедра рабынь, – и от его болтовни и запаха продымленного мяса у Алкмены закружилась голова, так что она, кажется, ткнула пальцем не в тот кусок, который уже почти выбрала, а в соседний, малость подозрительный.

Толстяк расторопно снял указанный кусок, рассыпаясь в любезностях, одна из рабынь подставила было корзину – как прямо из-за ее спины выскочил умолкший и потому всеми забытый нищий.

Он выхватил у торговца его копченую козлятину, отпрыгнул назад и, брызгая слюной, вцепился в мясо желтыми зубами, гримасничая и поглощая украденное с невероятной быстротой.

Воцарилась тишина – только нищий громко чавкал, и кадык на его немойшей бегал туда-сюда, пропуская неразжеванные до конца куски. Впрочем, тишина длилась меньше, чем хотелось бы нищему, – изумленно охнула Алкмена, завизжали обе рабыни, а чернобородый торговец с проклятиями извлек откуда-то увесистую палку и, решительно переваливаясь на коротких ногах, двинулся к не прекращавшему жевать воришке.

И не миновать бы наглецу хорошей трепки – поделом! – но тут любитель чужой козлятины перестал работать челюстями, уронил в пыль остатки мяса и схватился обеими руками за живот.

– Отравили! У-у-у...мираю!!! – вопль нищего взвился над базаром, чуть ли не заглушив общий шум и гам.

– Притворяется, мерзавец, – хозяин украденного мяса занес палку над катающимся по земле вором, но не опустил ее, а замер в нерешительности.

Вопли быстро перешли в нечленораздельный вой; человек уже больше не катался по земле, а лишь слабо дергался, вцепившись в собственный живот; лицо несчастного покрылось бисеринками пота, на губах выступила пена, хриплое дыхание с трудом вырывалось сквозь стиснутые в судороге зубы.

Он уже не выл, не стонал, а так – слабо скулил.

До Алкмены внезапно дошло, КТО мог бы оказаться на месте нищего, не съешь он эту злополучную козлятину, – и Алкмену, несмотря на полуденную жару, пробрал холод.

А до толстого продавца дошло, ЧБИМ мясом отравился нищий, – и толстяк поспешил исчезнуть, причем проделал это столь виртуозно, что незадачливому воришке следовало бы поучиться у него этому искусству.

– Лекаря! – словно очнувшись, крикнула Алкмена.

– Лекаря! – следом за ней заголосили рабыни.

– Лекаря! – нестройно подхватила толпа.

Вскоре к месту происшествия действительно протолкался лекарь – сухонький, седенький старичок, напоминающий осенний одуванчик, если его для смеху нарядить в длиннополый гиматий и новенькие красные сандалии, явно только что купленные здесь же, на базаре.

При виде будущего пациента лекарь брезгливо скривился, но тем не менее склонился над отравленным, пощупал тонкое запястье, приложил ухо к груди, потом – руку ко лбу; поморщившись, принялся к запаху изо рта.

– Плохо, – глубокомысленно заключил он.

– Выживет? – вырвалось у Алкмены.

Лекарь строго посмотрел на нее.

– Может, выживет, – сообщил он, потом подумал и добавил: – А может, и не выживет.

Это еще у богов на коленях...

И собрался уходить.

– Я... – Алкмена тронула лекаря за локоть. – Я заплачу за лечение.

Лекарь собрался уходить гораздо медленнее.

Одна из рабынь что-то зашептала ему на ухо, тыча пальцем в свою хозяйку.

Лекарь совсем раздумал уходить.

– Ты и ты, – он указал на двух крепких мужчин с мозолистыми руками ремесленников, стоявших среди зевак. – Берите его и несите за мной. Она вам потом заплатит.

Ремесленники и не подумали послушаться. Толпа расступилась, пропуская лекаря; следом указанные носильщики тащили отравленного, за ними двинулась Алкмена с рабынями, ну а за женщинами увязался десяток любопытствующих бездельников, каких хватает на любом базаре.

Шатер лекаря оказался неподалеку. У входа в него на циновке были разложены всякие снадобья, и худосочный подросток в грязной набедренной повязке – должно быть, ученик – толк в деревянной ступе весьма подозрительные корни.

– Рвотное, – коротко приказал лекарь, пнув ученика в оттопыренный зад, и подросток, оставив ступу, поспешно исчез в шатре.

Лекарь махнул носильщикам – и все, кроме женщин и зевак, последовали за учеником. Видимо, в шатре был еще один выход, потому что вскоре с другой стороны шатра послышались отвратительные звуки – желудок воришки извергал несвежую козлятину, а заодно и все остальное, что в нем находилось. Судя по продолжительности звуков, нищий не голодал последние лет десять.

...После всего лекарь снова вышел к Алкмене.

– Выживет, – однозначно ответил он на немой вопрос. – Его червями кормить можно. Провалется день-другой, и все.

– Я тебе что-то должна? – напрямик спросила Алкмена, уже успевшая расплатиться с носильщиками.

– А как же! – покладисто согласился лекарь, разглядывая носки своей замечательной обуви. – Велите прислать мне пару амфор с вином и мешок просяной муки. А еще лучше – два мешка. Заранее благодарю, госпожа.

И, кивнув на прощание, скрылся в шатре.

Зеваки начали расходиться.

И никто не видел, как полумертвый оборванец, заботливо уложенный под навесом позади лекарского шатра, открыл глаза, быстро огляделся по сторонам, убедился, что рядом никого нет, проворно вскочил на ноги – и припустил по ближайшей улочке с такой резвостью, словно на его рваных сандалиях-крепидах вдруг выросли крылья...

6

Мужу Алкмена не сказала ничего – зато болтливость рабынь не имела предела.

В эту ночь Амфитрион был особенно ласков с женой и после спал беспокойно, все время просыпаясь и касаясь Алкмены рукой – будто боялся, что она вот-вот исчезнет неведомо куда.

А утром велел отвести двух черных коров в храм Пеана, где и принести их в жертву богу-врачевателю и сестрам-Фармакидам; и еще одну корову – в храм Зевса Крониона.

Зачем Зевсу? На всякий случай...

Уж очень не нравились Амфитриону эти проклятые случаи, преследовавшие жену с той памятной ночи.

Эх, боги, боги... что для вас жизнь человеческая? Походя возвысите, походя растопчете – и неизвестно еще, что хуже...

Эта мысль терзала Амфитриона и в тот день, когда Алкмена в сопровождении здорового раба-эфиопа отправилась во дворец басилея Креонта, возвышавшийся в южной части Фив. Шла она, естественно, не к самому Креонту, а к его жене Навсикае – пухлой хохотушке совершенно не царственного (хотя и очень милого) вида. Как и их мужа, Алкмена и Навсикая почти сразу сдружились, и последняя нередко звала подругу в гости, особенно когда привозили новые ткани – Алкмена безошибочно определяла, какая из тканей больше подходит легкомысленной Навсикае, успевшей нарожать своему Креонту кучу девочек.

В подобном визите не было ничего особенного, как и в том, что женщины за болтовней и примерками засиделись допоздна, но сердце у Амфитриона в последние дни было не на месте, и, когда начало смеркаться, он не выдержал. Путь от его дома ко дворцу Креонта был один (если не блуждать по грязным переулкам, на что Алкмена вряд ли бы решилась), так что Амфитрион быстро собрался и вышел в сгущающиеся сумерки, намереваясь встретить жену.

И вскоре из-за очередного поворота до него донесся грубый смех, мужские голоса – и почти сразу же гневно-испуганный голос Алкмены:

– Что вы делаете?! Вы что, не понимаете, кто я?!

Амфитрион ускорил шаг и пожалел, что не взял с собой оружия.

Их было шестеро. И назвать их можно было кем угодно, но только не почтенными гражданами. «А хоть бы и почтенные...» – зло подумал Амфитрион, чуть не споткнувшись о труп раба-эфиопа с раскроенным черепом. Шагах в двадцати от него прижалась к забору Алкмена, а мужчины окружали ее, подбадривая друг друга скабрёзными шуточками. Спешить им явно было некуда.

Немного поодаль стоял еще один – не столько высокий, сколько невероятно широкоплечий, уже немолодой, с курчавой седеющей бородой. Этот кутался в длинный плащ цвета морской волны и как бы был вообще непричастен к происходящему.

Просто стоял, смотрел...

И негромко свистнул при появлении Амфитриона.

Мужчины обернулись и уставились на новоприбывшего.

– Эт-то еще кто? – пробормотал один из них.

– Я Амфитрион-Изгнанник, – Амфитрион специально назвался старым прозвищем, под которым его знали в Фивах, когда он пришел звать басилея Креонта против телебоев, не имея за плечами ничего, кроме молодой жены, тяжелого копья и страшной славы. – А это моя жена...

И во весь голос, во все его медное звучание, не раз перекрывавшее шум битвы:

– Прочь с дороги, ублюдки!

Насильники сперва шарахнулись, но после остановились, переглядываясь, и вперед вышел один – толстошей детина с крючковатым носом и маленькими сонными близко посаженными глазками. От левого глаза вниз, теряясь в щетине, тянулся похожий на дождевого червя шрам.

Покачиваясь, вожак двинулся к Амфитриону.

За поясом детины торчал кривой фракийский нож, но он не стал его доставать, а попросту протянул вперед свою узловатую, похожую на древесный корень руку и ухватил Амфитриона за хитон на груди.

– Герой, – уныло буркнул толстошей, и червь на его скуле лениво заизвивался. – Гля, братя, это вот герой... голова горой...

И истошно взвыл, когда жесткие, как дерево, пальцы Амфитриона ударили его по глазам: взвыл и вскинул руки к лицу, и захрипел, забулькал, оседая наземь, страшно скалясь новым ртом, прорезанным под подбородком.

Никто и не заметил, как кривой нож из-за пояса детины переключался в руку Амфитриона, бронзовым всплеском омыв горло прежнего хозяина и тут же метнувшись в сторону, с хрустом входя под ключицу самому расторопному, замахнувшемуся короткой дубинкой.

Остальные дрогнули, засуетились, попятнулись за спину широкоплечему владельцу синезеленого плаща – но попятнулись как-то странно, будто бы и не замечая его, – и быстро растворились в вечерней мгле.

Широкоплечий шагнул к Амфитриону, глядя на него с безразличным интересом, – и Амфитрион ударил, коротко, умело, вложив в удар опыт и злую боль, заставлявшую сердце стучать сухо и неумолимо.

Земля оказалась на удивление твердой.

Вскочив на ноги, Амфитрион ударил снова, чувствуя, что ноги отказываются служить ему, что ребра кричат о пощаде и голова наполняется мутными сумерками без надежды на будущий восход.

Ударил, не понимая, что делает.

И попал, в кровь разбив кулак, как если бы бил скалу.

После чего земля снова толкнула Амфитриона в затылок.

...Широкоплечий стоял над ним, задумчиво держась за щеку, и в пронзительных глазах его презрение непонятным образом смешивалось с удивлением. Так, должно быть, смотрит волк на сумасшедшего козленка, цапнувшего своими тупыми зубами свирепого зверя за бок.

– А у твоей жены ляжки волосатые, – равнодушно сказал широкоплечий, так равнодушно, что это поначалу даже трудно было принять за оскорбление. – Как у сатира. Мокрица ты, герой... Слизь.

И тогда Амфитрион понял – все. Пришла пора умирать. Только умирать было нельзя, потому что Алкмена все еще прижималась к забору; умирать было нельзя, и он заставил себя встать на колени – стоять на коленях перед широкоплечим было унижительно, но почему-то не очень, – потом на одно колено, потом...

Потом откуда-то из темноты, из-за спины широкоплечего раздался голос. Ехидный, почти мальчишеский и очень знакомый голос – только муть в голове не давала Амфитриону понять, где же он слышал его раньше.

– Что, дядя, тоже героем решил стать? – спросил этот голос. – Так тебе вроде бы не к лицу...

– Шел бы ты отсюда, Пустышка! – пророкотал широкоплечий. – Не лезь не в свои дела, племянничек!

– Не буду, – как-то уж очень легко согласился голос. – И, пожалуй, пойду. Быстро-быстро пойду. Даже, можно сказать, полечу. К папе. А он с утра сегодня злой, как Тифон... Ну что, дядюшка, я пошел?

Широкоплечий «дядюшка» не ответил. Лицо его исказила видимая даже в темноте гримаса злобы, он с силой выдохнул воздух и, резко повернувшись, зашагал прочь. Тяжелая поступь его, казалось, сотрясала землю и долго не затихала в темноте.

Амфитриону на миг померещилась перед собой неясная фигурка в хламиде с капюшоном – и он вспомнил, вспомнил остро и болезненно, как тот же самый голос не так давно предупреждал его о необходимости держать язык за зубами...

Он застонал и поднялся на ноги.

Ему было стыдно смотреть на жену.

А Алкмена с обожанием глядела на мужа-героя, воина, своего мужчину, который всегда спасет, всегда защитит, всегда, всегда...

Она не видела широкоплечего, не слышала странного разговора, для нее все закончилось смертью толстошею детины – и не стоял над Амфитрионом его последний противник, и не уходил он потом, непобежденный, но вдруг ссутулившийся...

Всего этого для нее не было – словно кто-то украл из ее жизни горсть минут.

Разве что мелькнула в темноте знакомая хламида с капюшоном, так живо напомнившая давешнего воришку, отравившегося украденным мясом.

...А Амфитрион избегал встречаться глазами с женой и брел на подгибающихся ногах, понуриив голову. Впервые за много лет он был побежден. И сейчас они идут домой лишь благодаря неведомому покровителю, к которому Амфитрион испытывал явную неприязнь – хотя изо всех сил старался испытывать благодарность.

Горечь поражения, увы, не становилась слаще, когда он думал о числе поверженных врагов и о том, что один из них – возможно, не совсем человек.

Если бы все повторилось – Амфитрион знал, что ударил бы его снова.

– О боги, – глухо пробормотал Амфитрион, – за что?..

Вопрос был глуп и наивен; он прекрасно понимал это, но не спросить не мог.

– Надо ехать в Дельфы, – срывающимся голосом отзывалась Алкмена, незаметно поддерживая шатающегося мужа. – Надо спросить пифию в святилище Аполлона. Это последнее, что нам осталось.

Амфитрион помимо воли представил себе Аполлона в своем облике и в постели Алкмены – и понял, что не хочет ехать в Дельфы.

Абсолютно.

7

Отговорить Алкмену от поездки к оракулу не удалось – в ней проснулось наследственное упрямство Персеидов, а Амфитрион знал по собственному опыту, что в таких случаях дальнейшие уговоры бессмысленны.

Тем более что Алкмена, будучи на пятом месяце, чувствовала себя прекрасно, заметно округлившийся живот носила с величавым достоинством и вообще ничем таким не отличалась от Алкмены прежней, если не считать неожиданной любви к родосским копченостям. На фессалийские, после того случая на базаре, она даже смотреть не могла.

Амфитрион скрепя сердце согласился – хотя не мог избавиться от мысли, что совершает чудовищную ошибку, потакая прихоти жены обратиться за пророчеством к Аполлону Дельфийскому или любому другому божеству, одно из которых походя, из минутного любопытства, растоптало их семейное счастье.

Впрочем, Алкмена ничего не знала о его терзаниях и лучилась радостью, ласкаясь к мужу... а муж избегал ее, отговариваясь занятостью, боясь даже намеком дать Алкмене понять причину своей угрюмости, – и жалел Амфитрион лишь об одном.

Что за долгие годы жизни своей, жизни внука Персея, сына одного из царей микенских, воина, убийцы поневоле, изгнанника, мужа, полководца-лавагета, – что за эти годы он не научился двум вещам.

Прощать обиды и гордиться милостью с чужого плеча.

Он мрачнел, клял свою гордыню и пил по ночам.

Однажды он проговорился Креонту, что опасается поездки к оракулу. К счастью, хмель теперь плохо брал Амфитриона, и он на этот раз успел остановиться в своих неуместных откровениях – да и Креонт, басилей Фив и муж государственный, понял его по-своему. Мало ли разбойничков пошаливает в Беотии?¹² На следующий день невыспавшийся Амфитрион ужаснулся, узнав, что заботливый Креонт выделил им для сопровождения отряд воинов, вполне достаточный для захвата Дельф силой – если такая идея вообще может прийти кому-нибудь в голову.

Пришлось отказываться со всей возможной вежливостью и лично отбирать полтора десятка ветеранов прежних походов, готовых за Амфитриона кинуться на кого угодно – и, что самое главное, умеющих кидаться спокойно и рассудительно.

Ветеран – это воин, который выжил, и этим все сказано.

Креонт одобрил выбор друга, а Амфитрион умолчал, что из самых живучих отобрал самых опытных, из самых опытных – самых верных, а из самых верных – самых несусеверных, способных не вздрагивать при громе с ясного неба и любящих клясться интимными частями тел олимпийцев.

Почему-то это казалось ему очень важным.

Шестого дня месяца гекатомбеона¹³ под приветственные клики толпы из северо-западных ворот Фив выехала и двинулась дальше процессия из трех колесниц, запряженных парами лошадей митаннийской породы, за которыми следовало пятнадцать солдат, всю горланящих соленые солдатские песни. Первой колесницей правил лично Амфитрион, а стоявшая позади него Алкмена улыбалась направо и налево, приветственно взмахивая ветвью лавра; второй колесницей правил юный Ликимний, сводный брат Алкмены (отец – Электрион, младший сын Персея – у них был общий, а мать Ликимния была фригиянка Мидея), такой же буйно-черноволосый, как сестра; а поводья третьей колесницы держал в руках не кто иной, как Телем Гундосый, отпущенный по просьбе Амфитриона из караульщиков и сиявший, как начищенная бляха.

Сам Амфитрион, вынужденно облаченный в парадные одеяния с пурпурной вышивкой где надо и где не надо, не мог дожидаться того часа, когда они отъедут подальше от города и он наконец-то сможет содрать с себя опостылевшие тряпки и переодеться в более привычную одежду, которую подобает носить мужчине в походе – даже если это всего-навсего поход в священные Дельфы. Тогда же он собирался пересадить Алкмену на колесницу Ликимния. Дело было в том, что Амфитрион по праву считался лучшим колесничим в Беотии – а может, и не только в Беотии – и, как всякий мастер, гордящийся своим умением, позволял себе при езде многие вольности, не совсем подходящие для перевозки беременных женщин.

Особенно если женщина эта – твоя жена и ты хочешь, чтобы она благополучно доносила свой срок и родила тебе наследника.

Ликимний же, несмотря на возраст, считался возницей опытным и благоразумным.

¹² Беотия – центральная и самая плодородная область Средней Греции с центром в Фивах.

¹³ Гекатомбеон – длился с 15 июля по 15 августа.

...Когда последний солдат вышел из ворот, а толпа фиванцев стала расходиться, обмениваясь впечатлениями, легкая тень упала на лица людей, скользнув в сторону все еще распахнутых створок ворот, – хотя солнце светило вовсю и на небе не было ни облачка.

– Мама, мама! – дернул мать за край пеплоса какой-то голубоглазый мальчишка лет пяти. – Смотри! Кто-то прошел мимо солнышка! Ну мама же!..

– Что? – невнимательно переспросила толстая мамаша, весьма занятая обсуждением с подругой вчерашних цен на рыбу и шерсть. – Чего тебе? Есть хочешь?

– Кто-то прошел мимо солнышка! – терпеливо повторил малыш. – И пошел во-он туда!

Он указал рукой на запад, в ту сторону, куда удалилась процессия, отправившаяся в Дельфы.

– Да? – отозвалась мать. – Ну и хорошо. Сейчас вернемся – и я тебя накормлю...

Малыш собрался было заплакать, но увидел высунувшегося из норы ужа и передумал.

8

Эту неделю пути Амфитрион запомнит до конца своих дней – которых осталось не так уж и много, примерно вдвое меньше уже прожитых, но и не так уж мало, хвала Мойрам-жребиедательницам; впрочем, любая хвала никогда еще не останавливала неумолимую Мойру Атропос, готовящуюся перерезать тонкую нить жизни человеческой.

Летний месяц гекатомбеон изначально предназначен для наслаждения земными радостями, и паломники сперва надолго задержались у Копайдского озера (которое, в общем, было и не очень-то по дороге), где седеющие ветераны плескались, как дети, а ошалевший от солнца и свободы Ликимний затеял было бороться с Гундосым, и даже боролся, но недолго, потому что вмешавшийся Амфитрион содрал притворно рычащего Телема со своего шурина – после чего ухватил обоих за загривки и отволол на глубину, невзирая на сопротивление и вопли, где и притопил под гогот солдат и визг счастливой Алкмены.

Потом, украсив себя венками из священного лавра и поклявшись Аполлону не снимать их до возвращения домой, все двинулись в направлении Фокиды и почти добрались до северных склонов Парнаса, когда Амфитрион на привале предложил сделать небольшой крюк, спустившись к Коринфскому заливу и посетив Крисы – крохотный приморский городок, служивший гаванью для Дельф.

Он сам не знал, что толкнуло его на этот шаг. Явная ли причина – необходимость получить известия о торговых галерах, подрядившихся доставить невывезенную добычу с Тафоса, и лично организовать перевозку ценностей в Фивы, предварительно обменяв часть тафосских сокровищ на медь и бесценную пурпурную краску; скрытое ли желание урвать у судьбы еще одну неделю счастья... нет, он не хотел задумываться над этим, но через пару дней колеса повозок и копыта лошадей уже грохотали по скалистому побережью Коринфского залива, а позади шлепали о камень сандалии ветеранов.

Солнце клонилось к закату, и, когда колесницы проезжали слишком близко к обрыву, за которым в сорока локтях внизу шумело чем-то недовольное море, – можно было увидеть, как вода вскипает пеной, сиреневой в лучах заходящего Гелиоса, и волны отвешивают увесистые оплеухи ни в чем не повинным скалам.

Небо было чистым, хотя мористее начинали собираться немногочисленные тучи, стоявшие на месте, подобно упрямым овцам, и не желавшие подчиняться бичу пастуха – южного ветра Нота, случайно пролетавшего мимо и решившего пошалить.

– Хаа-ай, гроза над морем, хаа-ай, Тифон стоглавый, – запел от полноты чувств ехавший первым Ликимний, и ему вторила Алкмена, с лаской глядевшая на брата, уверенно правившего их колесницей, – хаа-ай, бушует Тартар...

– Хаа-ай, гроза над морем, – нестройно подхватили ветераны, – хаа-ай, гроза над миром...

Амфитрион отстал, пропустив солдат вперед, и теперь ехал последним, с непонятной тоской вслушиваясь в давно знакомую песню. Кони мотали мордами, порываясь рвануться вперед, но он упрямо придерживал их и озирался по сторонам, словно пытаясь в тучах над морем или в кустах чертополоха, пробивающегося в россыпи камней, высмотреть причину своего состояния, понять ее и стать прежним Амфитрионом. Если бы он был философом, возможно, он сказал бы, что пришла минута, когда ты понимаешь, что вот только что все было хорошо – но лучше уже не будет.

Нет, он не был философом, он был воином-наемником, потом – лавагетом, полководцем-наемником, он всегда злился, когда люди называли его героем, и посему просто слушал песню, дышал полной грудью и не замечал, что языки волн все с большим ожесточением лижут серый камень скал, забираясь все выше и выше, а южный гуляка Нот давно удрал в свою обитель ветров, чего-то испугавшись или просто вспомнив о неотложных делах.

– Хаа-ай, гроза над морем...

Сперва Амфитрион не сообразил, что произошло, и произошло ли что-то. Просто одна из волн, самая крутая и гневная, вдруг поднялась над остальными, вдвое обогнав в росте притихших сестер, застыла в воздухе пенным постаментом – и, прежде чем эта волна обрушилась вниз, земля вздохнула и заворочалась под ногами людей, копытами лошадей и колесами жалких людских повозок.

Духота разлилась в воздухе, горькая пьянящая духота, никто не успел испугаться, в наступившей тишине насмешкой прозвучал голос Гундосого, продолжавшего тянуть припев песни; второй подземный толчок был гораздо слабее, но именно он заставил гнедую кобылу – одну из двух, запряженных в колесницу Ликимния, – взвиться на дыбы, ударив копытами перед собой, и с неистовым ржанием броситься сломя голову, не разбирая дороги и заражая безумием свою подругу по упряжке.

Строй ветеранов смешался, Телем оборвал очередное «хаа-ай», с открытым ртом глядя вслед подпрыгивающей на камнях колеснице Ликимния, сам Ликимний всем телом откинулся назад, нависнув над упавшей Алкменой и пытаясь любой ценой остановить взбесившихся лошадей, – и Амфитриону показалось, что он слышит до боли знакомый боевой клич, раскатившийся над морем и заставивший тучи на горизонте вздрогнуть и неторопливо двинуться в сторону берега.

Он не сразу понял, что кричит. Кричит сам, вскинув руки с намертво зажатыми поводьями над головой, как не раз кричал в бою перед началом стремительной колесничной атаки; кричит, не видя врага, но нутром чуя его присутствие, угрожая ветру, морю, небу, содрогающейся земле, бешеным кобылам... врагу, у которого не было имени.

А потом изо всех сил хлестнул по спинам своих коней, заставляя их сойти с ума по воле колесничего и сравняться в безумии с теми, что неслись сейчас на расстоянии копеечного броска впереди него, все ближе прижимаясь к нетерпеливо облизывающейся пасти обрыва, – где внизу стояла и не падала нелепая, невозможная, чудовищная волна-постамент.

Его крик-клич спас жизнь ветеранам, многие из которых были бы иначе неминуемо растоптаны. Так же они, волей случая оказавшиеся на пути колесницы Амфитриона, мгновенно рассыпались в разные стороны – воинские навыки не раз спасали солдат в тех случаях, когда мудрая Метида-Мысль оказывалась совершенно бесполезной – а умница Гундосый вихрем слетел на землю и подхватил под уздцы лошадей своей упряжки, всем весом повиснув на них и отворачивая оскаленные морды вправо к обрыву, заставляя животных танцевать на месте и позволяя Амфитриону на полной скорости пройти впритирку к левому боку его колесницы.

Что чуть не сбросило и Телема, и его лошадей с обрыва, но это сейчас было совершенно не важно; и соленые брызги сорвались с гигантской волны, подобно невольным аплодисментам.

Грохот копыт оглушал, венки из священного лавра почти сразу свалились с головы, земля качалась в такт скачке, поводья жгли ладони, пытаясь вырваться из окостеневшей хватки, дважды колесница отрывалась от хрустевшего щебня оба левых колеса, и оба раза хрипящий Амфитрион чудом удерживал равновесие, а пот стекал по лбу и невыносимо разъедал глаза, но Амфитрион все равно видел, что Ликимний до сих пор не справился с проклятыми кобылами... вот он ближе... еще ближе... заднее колесо на миг зависает над краем обрыва, но Ликимний, страшно оскалившись, рвет левый повод – и ему удается выиграть у безымянной судьбы один локоть жизни... два локтя... три... почти пять локтей жизни – и в этот промежуток между бортом колесницы Ликимния и краем обрыва, за которым начиналось пенящееся небытие, Амфитрион вбил себя, коней и свою колесницу, как в бою вбивал копьё между краем щита и выставленным вперед мечом врага.

– Хаа-ай!..

Он прыгнул. Мгновение они шли совсем рядом, со скрежетом вминаясь друг в друга бортами, – и Амфитрион, не понимая, что делает, боком взлетел в воздух, обрушиваясь на закричавшего Ликимния, чуть не выбросив юного шурина на камни, и пальцами-когтями вцепился в кулаки брата Алкмены, омертвевшие на поводьях.

Еще через мгновение Амфитрион почувствовал, что спина его сейчас порвется.

А небо пахло конским потом и смертью.

Потом была боль в прокушенной насквозь губе, радостная, счастливая боль, потому что земля замедлила бег, постепенно перестала нестись навстречу, грохоча и подпрыгивая; и Амфитрион слизывал с губы кровь, наслаждаясь ее соленым вкусом, и пробовал разогнуть пальцы: сперва свои, а позже – растерянно моргавшего Ликимния.

Только тогда хлынул ливень.

9

...Амфитрион снял с себя шерстяную накидку-фарос, чудом не потерявшуюся во время скачки, набросил ее на скорчившуюся в углу жену; взгляды его и Алкмены на миг встретились, переплелись, стали единым целым, как тела любовников на ночном ложе, – и Амфитрион медленно отвернулся, сгорбившись под невидимой тяжестью.

Еле переставляя ноги, словно каждый шаг давался ему ценой года жизни, он приблизился к краю обрыва и остановился, глядя на море. Мокрые волосы кольцами облепили его лоб, хитон лопнул от подмышки до середины спины, на бедре алела широкая ссадина; он стоял под дождем и смотрел вниз, туда, где на узенькой полоске берега, на мокрой гальке, валялись обломки его колесницы, бился в агонии конь с переломленными ногами, а отпрянувшее море неуверенно облизывало труп второй лошади.

За спиной Амфитриона раздалось громкое истерическое ржание – видимо, ржала гнедая виновница всего случившегося.

Почему-то Амфитриону хотелось думать, что во всем виновата гнедая кобыла.

Он изо всех сил заставлял себя в это поверить – и не мог.

Он стоял и смотрел, как волны, подобно слепым быкам, мечутся во все стороны, то расшибаясь о скалы, то бодая друг друга, а из косматых туч, грозно нависших над заливом, вырываются пучки ослепительных молний и полосуют кипящее море... одно море... только море – и ничего больше.

И где-то глубоко внизу, под ногами, раздавался глухой рокот, будто землю пытались раскачать, но некто сильнейший держал земные корни в своих руках, как еще недавно Амфитрион – поводья колесницы, и земля вопреки всему оставалась неподвижной, хрипло ропща от боли.

Или это просто гремел гром?

Небо в ярости хлестало море бичами молний и тугими струями ливня, море неохотно огрызалось, словно взъерошенный зверь, еще рычащий и скалящий зубы, но уже готовый припасть на брюхо и отползти назад; в рокоте земли и раскатах грома звучали какие-то непонятные людям слова – а между небом и морем стоял измученный человек в порванном хитоне, и стихии боялись взглянуть ему в глаза.

– Кто бы ты ни был, – прошептал Амфитрион, – кто бы ты ни был...

И не договорил.

Вместо этого он повернулся к небу и морю спиной, оглядел свое испуганно-молчащее воинство, криво улыбнулся жене и охающему Ликимнию – и запел... нет, скорее, заорал на все побережье:

– Хаа-ай, гроза над морем, хаа-ай, Тифон стоглавый... ну, дети Ехидны! Хаа-ай...

– Хаа-ай, гроза над морем, – с обожанием в голосе подхватили ветераны, и даже изрядно помятый Ликимний присоединился к общему хору. – Хаа-ай, гроза над миром!..

– Вот так-то лучше, – буркнул Амфитрион, тронул пальцем ссадину на бедре, поморщился и зашагал прочь от обрыва.

10

К ночи они добрались до окраины Крис – добрались изрядно промокшие, но без приключений, и жрецы местного храма Аполлона-Эглета,¹⁴ едва завидев священные лавровые венки, тут же разместили всех в примыкающих к храму помещениях, специально предназначенных для паломников.

Расторопный Телем мигом определил, кто из жрецов главный, и удалился с ним, размахивая руками и втолковывая опешившему старцу что-то о внуках Персея, любимцах богов, и тому подобных вещах. Лысина старого жреца встревоженно отражала свет звезд, Гундосый увлеченно ораторствовал – и когда Телем вернулся, то следом за ним шла вереница храмовых рабов, согнувшихся под тяжестью плетеных корзин с разнообразной снедью и винными амфорами.

Амфитрион для виду пожурил вымогателя, и, как оказалось, зря, – главной причиной любезности жреца были отнюдь не речи Гундосого, а торговые галеры в гавани Крис, нагруженные тафосской данью; так что лысый служитель Солнцебога не без оснований рассчитывал на изрядную мзду в пользу храма.

О чем не преминул заявить Амфитриону с подкупающей откровенностью.

Правда, время он выбрал для этого неудачное – утром внук Персея проснулся с дикой болью в спине и содранных чуть ли не до мяса ладонях, на все намеки жреца только хмыкал и чесал расцарапанное бедро, а потом послал в гавань Ликимния и семерых солдат, отказав жрецу в невинном желании направить с Ликимнием добрый десяток дюжих рабов в качестве сопровождающих.

Жрец заикнулся было о невидимых стрелах Аполлона, поражающих не только преступников, но и скупердяев, а также о возможных дурных пророчествах пифии в Дельфах – но Амфитрион довольно-таки невежливо повернулся к жрецу спиной и без лишних слов пошел прочь.

Близ храма располагалась небольшая тенистая роща, в которой бил источник, излечивающий, по поверью, девяносто девять различных болезней. Таким количеством недугов Амфитрион не страдал, но, добравшись до источника, с удовольствием окунул в ледяную воду многострадальные руки и долго стоял так на коленях, закрыв глаза и наслаждаясь покоем полного безмыслия.

¹⁴ Эглет – Сияющий, одно из прозвищ Аполлона.

«И одиночества», – хотел сказать он себе, но не сказал, потому что минута слабости прошла и звериное чутье, не раз выручавшее Амфитриона в его бурной жизни, подсказало ему обернуться и внимательно оглядеться по сторонам.

Шагах в десяти от него, полускрытый стволом ясеня и пышными кустами шиповника, на таком же морщинистом, как и он сам, бревне сидел старик. Жирный, обрюзгший старик с отвислой, почти женской грудью – отчего старику не стоило бы носить одежду, открывающую левое плечо и часть груди. Не стоило бы, а он носил. Может быть, потому, что не мог увидеть себя. Впалые веки его, казалось, давно срослись и провалились в глубь глазниц, туда, где когда-то были глаза, а теперь были лишь мрак и память.

– Я знаю тебя, – негромко сказал Амфитрион, уверенный, что старик прекрасно слышит его. – Ты Тиресий, знаменитый прорицатель и уроженец Фив. Креонт еще жаловался, что как раз дома, в Фивах, ты объявляешься реже всего – особенно когда нужен позарез.

Старик с полным безразличием пожал плечами. Крупная муха, жужжа, села ему на щеку и деловито засучила передними лапками, но он даже не попытался согнать ее.

«В конце концов, – отрешенно подумал Амфитрион, – если я могу сидеть на земле, а этот слепец на бревне, то почему бы мухе не сидеть на его щеке?»

– Ты – Тиресий, – повторил Амфитрион, стряхивая с рук сверкающие капли. – Прорицатель. Говорят, тебя ослепила Афина за то, что ты видел ее обнаженной, но взамен дала дар прозрения.

– Говорят, – равнодушно отозвался Тиресий.

Голос его оказался неожиданно низким и звучным.

– А еще говорят, что тебя ослепила Гера, когда в ее споре с Зевсом о том, кто больше испытывает наслаждения в любви – мужчина или женщина? – ты принял сторону Зевса и сказал, что женщина берет себе девять частей наслаждения, мужчина же – всего одну часть. Гера ослепила тебя, а Зевс наградил прозрением.

– Говорят, – тем же тоном ответил старик.

– Так где же правда?

– Не знаю.

– Ну что ж, – Амфитрион встал, отряхнул колени и приблизился к ясеню, за которым сидел Тиресий, – во всяком случае, ты не можешь пожаловаться на несправедливость богов.

– Я и не жалею, – спокойно сказал старик, глядя куда-то в сторону своими провалами вместо глаз. – Боги справедливы. Я даже могу представить себе бога, который отнимет у тебя, Амфитрион Персеид, твой дом, твою жену (Амфитрион вздрогнул), твоих детей и имущество, одарит тебя сотней болезней, а потом в награду за терпение даст взамен другой дом, другую жену, другое здоровье, других детей и другое имущество... Да, такой бог тоже будет справедлив. Но скажешь ли ты, что он еще и добр, этот бог?

Амфитрион отрицательно покачал головой, забыв, что Тиресий не может его видеть.

Слепец неторопливо протянул руку, его толстые пальцы безошибочно нащупали цветок шиповника, но Тиресий не сорвал его – так, подержал и отпустил, отчего куст слегка закачался, играя солнечными пятнами.

– Вот так и ты, внук Персея, так и я, зрячий слепец, – тихо бросил старик, – как вольный цветок в руке богов: могут погладить, могут сорвать, а могут...

– А могут и палец наколоть, – закончил Амфитрион, катая каменные желваки на скулах.

– Могут, – усмехнулся Тиресий. – Я не способен увидеть тебя земными глазами, гордый внук знаменитого деда, но я чувствую исходящее от тебя дыхание Ананки-Неотвратимости. Если ты хочешь о чем-то спросить меня – спрашивай, потому что я скоро уйду. Или уходи первым и ни о чем не спрашивай.

– Когда я умру? – неожиданно для себя самого спросил Амфитрион, вглядываясь в безмятежное лицо слепца, заросшее редкими мутно-белесыми волосами, похожими на лишайник, растущий в пещерах.

– Нескоро. Хотя и неожиданно.

– Как я умру?

– В бою. Такие, как ты, редко умирают дома.

– У меня... у меня будет наследник?

– Да. Но тебе придется бороться за него с богом; и сперва победит бог, а потом – ты. Большого я тебе не скажу.

– Кто... кто побывал у меня дома той ночью?!

Почему-то Амфитрион не сомневался, что Тиресий твердо знает, о какой ночи идет речь.

Старик не ответил. Он грузно, долго разгибая хрустящие колени, поднялся с бревна и замер, опираясь на невесть откуда взявшийся посох и глядя поверх плеча Амфитриона.

– Я слышал гул голосов, – наконец разлепил бескровные губы Тиресий. – Он доносился с Олимпа. И тот голос, которым гремит гром, возвестил, что у смертной женщины из рода Персея Горгоноубийцы вскоре родится великий герой. Скажи своей жене, о благоразумный Амфитрион, что она носит сына Зевса, – и покушения на ее жизнь прекратятся.

Позади Амфитриона раздался сдавленный вскрик. Он быстро обернулся – и увидел белую как снег Алкмену, стоящую у источника и испуганно прижимавшую руки к груди. Амфитрион бросился к жене, крепко обхватил ее и привлек к себе – словно хотел втиснуть Алкмену внутрь, в свое бешено стучащее сердце.

«Ты слышала?» – спрашивало это сердце, огромно-неистовое, оглушающее, готовое разорвать грудь и огнем выплеснуться в мир, сжигая его или перестраивая заново.

«Да».

«Ты веришь его словам?»

«Да».

«Я люблю тебя...»

«Я люблю только тебя».

«Я знаю».

...Когда Амфитрион вновь посмотрел туда, где раньше находился Тиресий, там уже никого не было. Недвижимо стоял старый ясень, от источника, чья вода излечивает все болезни, кроме смерти и ненависти, в спину тянуло прохладой, расправлял свои розовые лепестки потревоженный цветок шиповника, и небо над рощей было бездонно-голубым и невинным, как взгляд новорожденного бога.

«Скажи жене, о благоразумный Амфитрион, что она носит сына Зевса, – и покушения на ее жизнь прекратятся...»

– Тиресий не сказал, – Амфитриону казалось, что он кричит, как тогда перед скачкой над обрывом, но на самом деле он лишь беззвучно шевелил губами, – он не сказал: «Твоя жена носит сына Зевса». Нет, он сказал: «Скажи жене... скажи – и покушения прекратятся!»

– Я боюсь, – еле слышно сказала Алкмена. – Я очень-очень боюсь...

– Не надо, – ответил Амфитрион. – Зевс охранит тебя от всех бед.

– А ты?

– И я.

– Той ночью, – Алкмена ткнула лбом в плечо мужа, – той ночью... кто был у меня первым? Ты – или Он?

– Я, – отчетливо произнес Амфитрион, радуясь, что жена сейчас не видит его лица, подобного лицу воина, чью открытую рану лекарь промывает кислым вином, – я был первым.

Я был первым, а Он – вторым. Ты носишь сына Зевса, женщина из рода Персея. И ты ни в чем не виновата. Так что нам незачем ехать в Дельфы.

«Я достаточно громко сказал это, Тиресий? – мысленно спросил он. – Достаточно громко, чтобы слышали все, кому надо?!»

И улыбнулся, счастливый произнесенной ложью.

11

Когда Амфитрион с Алкменой вернулись в храм – а это случилось отнюдь не скоро, – там царили волнение и суета. Бегавшие туда-сюда жрецы расступались перед Алкменой, испуганно косясь на нее, храмовые рабы почтительно отводили глаза и украдкой творили охранные жесты, а пришедшие с Амфитрионом солдаты толпились во дворе, многозначительно переглядываясь, и на лицах их были написаны восторг и гордость.

– Что случилось? – Амфитрион ухватил бледного Ликимния за плечи и слегка встряхнул (лучшего средства для развязывания языков он не знал; вернее, знал, но оно не годилось для родственников).

Ликимний отчаянно замотал головой и поспешно отскочил назад.

– Я скажу тебе, о досточтимый Амфитрион, что случилось, – лысый жрец, непонятно как оказавшийся рядом, торжественно поднял правую руку к небу, отчего сразу стал похож на высушенную оливу. – Когда ты соблаговолил отправиться к источнику, я в это время приносил утренние жертвы у алтаря. И там мне было знамение. Только сперва я ничего не понял.

– А потом понял? – поинтересовался Амфитрион, еле удерживаясь от желания придушить старого дурака.

– И потом не понял, – степенно отвечал жрец. – Просто потом явился Тиресий Фиванский (надеюсь, тебе знакомо это имя?!), и все мне растолковал.

Жрец посмотрел на свою воздетую ввысь правую руку, подумал, пожевал узким ртом и вскинул заодно и левую.

– Радуйся, женщина, – истошно затянул он, пугая рабов и птиц в кронах деревьев, – радуйся, отмеченная Зевсом, ибо...

Что «ибо», он сказать не успел, потому что увесистая ладонь Амфитриона с маху запечатала ему рот. Как ни странно, но все присутствовавшие сочли этот поступок вполне естественным – видимо, мужу женщины, отмеченной Зевсом, позволялось многое.

– Старец, чтоб я никогда тебя впредь не видал громогласным, – Амфитрион для пущей убедительности заговорил языком бродячих певцов-аэдов, не зная, что почти дословно предугадал высказывание одного из будущих героев Эллады, которого в конце концов в ванной зарежут его собственная жена и ее любовник. – Толком давай говори и меня ты не гневай – да здрав возвратишься! Понял?

Старец поспешно закивал плечью и знаками показал: дескать, понял и впредь не буду.

– Отмеченная Зевсом... – донеслось из-под ладони.

– Это мы и сами знаем, – Амфитрион убрал ладонь и грозно обвел взглядом собравшихся. – Что еще говорил Тиресий?

– Он говорил, – запинаясь, пробормотал жрец, – он говорил... что Громовержец объявил олимпийцам, будто с этого часа никогда не прикаснется к земной женщине. Только неясно почему...

– Ну, это как раз ясно, – буркнул Амфитрион.

Жрец недоуменно воззрился на него.

– Потому что лучшей женщины Зевсу уже не найти! – Амфитрион возвысил голос, чтобы дошло до всех. – Нигде и никогда! Такой прекрасной и... такой целомудренной, что богу пришлось принимать облик ее мужа для достижения цели! Теперь ясно, тупицы?!

Он еще раз оглядел их – солдат, жрецов, рабов, подолгу задерживая взгляд на каждом лице.

Всем было ясно.

Всем было совершенно ясно.

– Есть хочу, – Амфитрион потянулся всем телом, как человек, закончивший утомительную работу. – Эй, Гундосый, расстарайся...

И покровительственно подмигнул жрецу.

Стасим I

15

Тьма.

Вязкая, плотная тьма с мерцающими отсветами где-то там, на самом краю, в удушливой сырости здешнего воздуха – приторного-теплого и в то же время вызывающего озноб.

Багровые сполохи.

Гул.

Ровный шелест волн Стикса.

Дыхание глубин.

Где-то падают капли воды.

Все.

И всегда было так. Только так.

* * *

– Мы пришли, Сестра. Ты можешь говорить.

– Спасибо за разрешение, Старший, – в женском голосе сквозит явная издевка. Так иногда блестит бронза кинжала в складках воздушного пеплоса.

В ответ – молчание. Падение капель. Ровный шум Реки.

– В Семье – разлад, Старший.

– Знаю.

– И знаешь, кто виноват?

– Знаю. Каждый винит другого.

– Это суесловие, Старший. Ты не хуже меня понимаешь, что во всем виновен Младший.

– Твой Супруг, Сестра. И мой брат. Кстати, и твой тоже.

– Да, мой Супруг. Мой Супруг – но он виноват! Он и его сын от смертной, который родится сегодня!

– В чем же может быть виновен еще не рожденный ребенок?

– Во многом! В наших раздорах! Мой Супруг и раньше был не в ладах со Средним – теперь же они просто видеть друг друга не могут! А я не люблю, когда в Семье возникают серьезные ссоры... Ты знаешь, к чему это может привести?

– Знаю, Гера.

– Я пыталась примирить их...

В ответ – саркастический смешок.

– Я пыталась примирить их – и едва сама не попала в немилость!

– Неудивительно. Таков жребий миротворцев – особенно женщин.

– Не смейся, Аид! И не думай, что в случае чего тебе удастся отсидеться здесь!

– Я так не думаю.

– И правильно! Потому что это еще не все. Племянничек наш...

– Который? У нас с тобой их нечитано-немерено.

– Не притворяйся! Тот, который – что ни ночь! – у тебя обретается! Душеводитель твой!

– Лукавый, что ли? Гермий?

¹⁵ Песня, исполняемая хором между эпизодами в античной трагедии. Досл. «стоячая песнь».

– Он, Майино отродье... Пустышка! Ворюга несчастный! Ухитрился разгневать не только Среднего, но и моего Арея. Сам знаешь, Арея только повод дай... я уж говорю ему: «Сынок, не связывайся ты с Пустышкой!» – а он вне себя. Поймаю Лукавого, говорит, и...

– Пусть сперва поймает.

– А если все-таки? Лукавый у тебя в любимчиках – вот и скажи ему, чтоб не совал свой длинный нос куда не надо! Арей ведь шутить не любит. Вернее, не умеет.

– Зато Лукавый умеет. Стащил у меня мой шлем – и поминай как звали.

– Какой это шлем? Тот самый, что ли? Который тебе Киклопы ковали?!

– Тот самый.

– Этого только не хватало! И так в Семье невесть что творится! Ты отмалчиваешься, Младший со Средним друг на друга рычат, Арей в драку лезет, Гермий совсем от рук отбился – и все из-за еще не рожденного ребенка! Тоже мне – Мусорщик-Одиночка, равный богам... А что будет, когда он родится?!

– А по-моему, Сестра, ты просто ревнуешь. Как обычно. Как сто раз до того. Ревнуешь к смертной женщине, которую Младший в очередной раз предпочел тебе. И – опять же, как обычно – собираешься выместить злость на ней и ее сыне. То ты бедную Ио гоняешь по всему свету, то Эгину мучишь, теперь вот Алкмена... Пора бы успокоиться, Сестра.

– Я? Я – ревную к смертной?! Пройдет лишь миг – для нас – и тело ее станет прахом, а тень попадет к тебе. Для меня она – уже прах! Как я могу ревновать к праху? Меня беспокоят в первую очередь разногласия в Семье, потом, мне не нравится сама идея Мусорщика-Одиночки... И наконец – мой Супруг собирается сына этой... этой женщины в конце его жизни возвести на Олимп, сделав равным нам! Ты представляешь, Аид?! Я ночь не спала, когда Зевс заявил об этом!

– Это невозможно, Сестра. Или он изначально равен нам – и тогда намерения Младшего не имеют смысла; или он не равен нам – и не будет равным, что бы ни думал Младший по этому поводу!

– Значит, Старший, ты с нами?

– Я? Неужели Средний не рассказал тебе о нашем с ним разговоре?

– Средний сказал, что ты с нами.

– Значит, он соврал. Я сказал, что я сам по себе. И пока не вмешиваюсь. Пока.

– Вот и не вмешивайся! Во всяком случае, царствовать над всеми Персеидами этот Мусорщик-Одиночка не будет – об этом я уже позаботилась!

Та, которую называли Сестрой, неожиданно умолкла. Когда она заговорила снова, в голосе ее уже не было ни злобы, ни ярости, ни даже властности – была усталость и просьба, почти мольба.

– Ты знаешь, Старший, мой Супруг в последнее время очень изменился. Вот уже девять месяцев он не делит ложе ни с кем. Женщины перестали интересовать его – и это пугает меня. Он стал раздражителен, порой мрачен и еще более вспыльчив, чем прежде. Я не знаю причин – и боюсь узнать их. Так что прошу тебя, Старший, – оставайся в стороне, как и обещал. И еще прошу тебя – уговони Лукавого.

– Хорошо, Сестра. Угмоню... если найду.

– Ну, мне пора...

– Да, иди. У каждого из нас – свой путь. Тебе – идти, мне – оставаться... Только смотри не оступись.

– Ой!

– Ну вот, я же предупреждал! Это так просто – оступиться, особенно если дорога плохо видна...

* * *

...Когда легкие шаги и шорох осыпающихся камешков затихли в отдалении, а багровый мрак заметно поредел, тот, кого называли Старшим, повернулся и безошибочно ткнул пальцем в одну из ниш на бугристом теле утеса.

– Лукавый?

Ответа не последовало.

– Ты что, решил от меня спрятаться? Снимай шлем и лети сюда. А то Кербера кликну, пусть погоняет тебя, дурака...

В нише что-то шевельнулось – и в сумраке слабо проступило лицо, а затем – чуть светящиеся очертания стройной фигуры Лукавого (проявившейся несколько позже лица) и некий громоздкий предмет в его правой руке.

По-видимому, это и был пресловутый шлем.

– Великоват он мне, дядя, – пожаловался Лукавый. – Все время на нос сползает.

– А ты б не хватал без спроса – глядишь, и не сползал бы. Ладно, шлем пока оставь у себя. Тебе он нужнее – попадешься Арею в лапы, он с тебя три шкуры спустит.

Лукавый презрительно хмыкнул.

– Спасибо, дядя, – чуть погодя добавил он.

– Пожалуйста. Все слышал?

– Ни единого слова. И вообще, я только что пришел.

– И что думаешь?

– Думаю? Я? Ну ты шутник, дядя...

– А чего не думаешь?

– О мачехе, что ли? Ревнует. Но и беспокоится. Только не о том, о чем надо. Я меж людей толкусь чаще вас всех – потому и замечаю то, чего вы не видите.

– Что именно?

– Человеческие жертвоприношения. Снова. Там, где их приносили раньше, – их приносят чаще. Там, где о них стали забывать, – вспомнили опять. И даже там, где их не было никогда... А ведь ты знаешь, дядя, кому они идут, даже если их приносят нам с тобой, – Лукавый ткнул пальцем себе под ноги.

– Знаю. Даже если их приносят нам с тобой, даже если их приносят Громовержцу – они идут вниз. В Тартар. И кормят Павших.

– Вот именно. Так что прикрикни на Кербера, дядя, – сторожит плохо, все блох гоняет! И Харону скажи – пусть челн лучше проверяет... проглядит тень-беглянку!

– Ты пугаешь меня, Гермий. А я не из пугливых... но из осторожных. И очень надеюсь на ребенка, который должен родиться сегодня. Если Младший не ошибся...

– Папа не слишком умен. Но при этом он редко ошибается.

– Допустим. А ты все равно приглядывай за отцом – на Афины я не очень-то рассчитываю. Сам говоришь – не слишком, мол, умен...

– Пригляжу, дядя.

– Только смотри – не попадайся.

– Я? – расхохотался Лукавый. – Чтобы я – и попался? Скорее ты умрешь, дядя!..

Мрак еще долго потом хохотал на два голоса.

Эписодий второй

1

«Тафос – и тот было легче взять», – беспомощно подумал Амфитрион, когда целая армия мамок, нянек, повивальных бабок и всяких разных женщин под предводительством раскрасневшейся Навсикаи в очередной раз изгнала его из гинекея, перехватив еще на подступах к заветной двери.

Он спустился во двор и стал ходить кругами, как лев по пещере, стараясь не обращать внимания на многоголосый шум, доносившийся из-за забора с улицы. Это оказалось трудно – едва ли не труднее, чем думать о том, что в гинекее кричит в муках рожаящая Алкмена, кричит уже чуть ли не полдня, и ты ничем не можешь ей помочь, будь ты хоть трижды герой.

– Это Илифии! – послышался с улицы чей-то пронзительный визг. – Илифии-родильницы! Это все они!..

– Что – они? – пробилося сразу несколько голосов.

– А то, что родить не дают! По приказу Геры! У порога сидят и рожи корчат...

«Я т-тебе сейчас скорчу!» – зло подумал Амфитрион, выдергивая засов и рывком распахивая створки ворот.

Толпа зевак при виде его попятилась, а какая-то бойкая старушонка-карлица, похожая на ласку, проскочила под рукой Амфитриона и мигом оказалась во дворе.

Амфитрион повернулся было к ней, но старушонка вместо того, чтобы удирать, сама подбежала к Амфитриону и вцепилась ему в запястье.

– Галинтиада я! – заблажила она, плюясь и уморительно кривляясь. – Галинтиада, дочь Пройта! Гнать их надо, гнать Илифий, господин мой! Гнать! Прочь! Я Галинтиада, дочь Пройта, я умная, все знаю...

И забежала, заскакала по двору, истерически визжа:

– А-а-а-а! Сын у Алкмены родился по воле великого Зевса! Сын богоравный, могучий, герой, Истребитель Чудовищ! Кукиш Илифиям, кукиш, забыли их, жертв не приносят! Хладны стоят алтари, покарал Громовержец злосчастных! А-а-а! Правду сказала дочь Пройта, что служит Трехтелой Гекате!¹⁶ Правду! Правду! Правду!..

Амфитрион потрянул головой, словно избавляясь от наваждения, – и шагнул к карлице с твердым намерением выставить ее на улицу. Меньше всего он хотел видеть сейчас служительницу Гекаты, пусть даже безобидную с виду и полубезумную.

Но когда он приблизился к задыхающейся Галинтиаде – дверь в гинекей отворилась и на пороге возникла сияющая Навсикая. В пухлых руках ее был небольшой сверток, заботливо прикрытый женой Креонта от сквозняка.

Сверток негромко квакал.

Амфитрион забыл про толпу, про визгливую Галинтиаду, дочь Пройта, про все на свете – он видел сейчас только этот сверток, и начнись сейчас потоп, Амфитрион бы его не заметил.

– Сын? – одними губами выдохнул он.

– А то кто же? – рассмеялась Навсикая, удобно пристраивая сверток на сгибе локтя. – Не то что я – одних девчонок рожая... Гляди, герой, – какой мальчишка! Всем на зависть!

¹⁶ Геката – ночная богиня, покровительница волшебства и призраков, но в то же время подательница земных благ, помогающая при деторождении. Ее атрибуты – собаки, змеи, ключи и кинжалы.

Амфитрион приблизился к Навсикае и робко заглянул под откиннутые пеленки. На него смотрело морщинистое красное личико, пускающее пузыри из беззубого рта, – самое красивое, самое замечательное из всех лиц человеческих.

Протянув руку, Амфитрион слабо коснулся щеки младенца.

– Я назову тебя Алкидом, малыш, – неслышно прошептал он. – В честь Алкея, моего отца, а твоего деда. Алкид – значит Сильный... Хорошее имя. Чьим бы сыном они ни считали тебя, а имя тебе дам я! У тебя был хороший дед; и, надеюсь, у тебя будет хороший отец – даже если ты станешь звать отцом Громовержца... Ты будешь сильным, маленький Алкид, а пока что я побуду сильным за тебя. Договорились?

Ребенок скривился и заквакал значительно громче.

– Напугали детоньку, напугали бедную, – принялась успокаивать новорожденного Навсикая, укачивая его на руках. – А ты, герой, кончай бормотать и... и не рвись, куда не следует! Рано тебе еще на женскую половину, не до тебя там! Иди, иди, займись чем-нибудь, распорядись насчет пира, подарки раздай...

– Мальчик! – вдруг завопила Галинтиада, бегом устремляясь к незапертым воротам. – Сын! Сын у Алкмены родился, герой богоравный, герой, Истребитель Чудовищ! Сын! Кукиш Илифиям, кукиш!... Забыли их, Гериных дочерей...

Ее щуплое тельце ужом проскользнуло в щель между створками – и спустя мгновение зеваки за воротами загалдели в десять раз сильнее, чем прежде.

– погоди! – опомнившийся Амфитрион кинулся к воротам, выскочил на улицу, огляделся и увидел Галинтиаду, дочь Пройта, во все лопатки улепетывающую прочь от дома.

– погоди, Галинтиада! Да стой же!..

Старушонка обернулась на бегу – и Амфитрион рванул с шеи золотой диск с изображением Гелиоса на колеснице.

Цепь, не выдержав, лопнула, два звена упали в пыль, но Амфитрион не нагнулся за ними.

– Лови, дочь Пройта! Спасибо тебе!..

Уверенным движением дискобола Амфитрион послал украшение в воздух, диск со свистом описал пологую дугу, и толпа зевак разразилась приветственными криками, когда карлица ловко извернулась и, подпрыгнув, поймала дорогой подарок на лету.

Потом старушонка вновь кинулась бежать, и если бы Амфитрион видел выражение хищной радости, исказившее ее мордочку, то он бы, возможно, крепко задумался – но он ничего не видел.

Он попросту вернулся во двор, запер за собой ворота, пятерней взлохматил свои и без того непослушные волосы – и принялся вновь бесцельно слоняться по двору, но на этот раз улыбаясь и напевая себе под нос.

...А Галинтиада, дочь никому не известного Пройта, все бежала и бежала, прижимая дареный диск к дряблой обнажившейся груди, у самой Кадмеи круто свернув на северо-запад, к окраине Фив, пока не добежала до одинокой развалюхи, чьи полусгнившие деревянные опоры были густо затянуты зеленым плющом.

Старушонка вбежала внутрь, откинув с пола циновку, с натугой приподняла обнаружившуюся под ней крышку люка – и принялась спускаться в открывшийся черный провал по приставной лестнице, которая угрожающе скрипела даже под ее легким телом.

– Свершилось? – нетерпеливо спросили снизу, из темноты.

– Да, – коротко отозвалась Галинтиада и резко, тоном приказа, так не похожим на ее предыдущую манеру речи, добавила:

– Начинайте! У нас мало времени...

Ударил кремьень, полетели искры, через некоторое время в углу загорелся небольшой очаг, огонь его с трудом раздвинул мрак в стороны, высветив земляные стены, огромный камень, кое-как обтесанный в традиционной форме жертвенника, – и двух людей у этого камня.

Один из них спешно разворачивал какой-то сверток, очень похожий на тот, который держала радостная Навсикая.

– Скорее! – бросила ему спустившаяся Галинтиада.

Человек молча кивнул, и вскоре на алтаре лежал голенький ребенок – девочка, живая, но не издававшая ни звука, будто опоенная сонным настоем. Галинтиада склонилась над ней и ласково улыбнулась улыбкой матери, нагнувшейся над колыбелью. Ее сверкающие глазки не отрывались от ребенка, высохшие руки суетливо рылись в лохмотьях одежды, словно дочь Пройта страдала чесоткой, – и почти неразличимые люди позади карлицы начали слабо раскачиваться из стороны в сторону, мыча что-то невнятное, что с одинаковым успехом могло сойти и за колыбельную, и за сдавленный вой.

– Слышу! – вырвалось у одного, того, который распеленал девочку. – Слышу Тартар... слышу, отцы мои!.. Слышу...

Галинтиада даже не обернулась.

– Сын у Алкмены родился по воле великого Зевса! – забормотала она, приплясывая на месте. – Сын богоравный, могучий, какой до сих пор не рождался!.. Жертву прими, Избавитель, младенец, Герой Безымянный, – жертву прими, но уже не по воле Зевеса, а тех, кто древней Громовержца... жертвуем искренне новорожденному...

– Слышу Тартар! – подвывали сзади уже оба помощника. – Слышим, отцы наши... о-о-о... недолго уже... недолго!..

Правая рука Галинтиады резко вывернулась из лохмотьев, сжимая в кулаке кремневый нож с выщербленным лезвием; почти без замаха она вонзила нож в живот даже не вскрикнувшей девочки и косо повела лезвие вверх, со слабым хрустом вспарывая грудь. Левую руку дочь Пройта, не глядя, протянула в сторону – и один из помощников, не промедлив ни мгновения, вложил в нее дымящуюся головню из очага.

Нож снова поднялся вверх, с его лезвия сорвалась капля крови – и, зашипев, упала на подставленную головню. Противоестественная судорога выгнула тело Галинтиады, она зажмурилась и запрокинула голову, вжимая острый птичий затылок в плечи.

– Принято, – страстно простонала она. – Свершилось! Дальше...

...В это время на руках у Навсикаи истошно закричал маленький Алкид.

2

Зеваки уже давно разбежались во все стороны, гоня перед собой мутную волну слухов, сплетен и пересудов, когда Амфитриона наконец впустили в гинекей.

Он остановился у ложа, где откинулась на подушки бледная измученная Алкмена, хотел было... он так и не вспомнил, чего именно хотел, уставившись на два свертка, лежавшие рядом с женой.

Два.

Два свертка.

– Близнецы, – заулыбалась Навсикая, а следом за ней и все женщины, находившиеся в гинекее. – Близнецы у тебя, герой! Ну ты и мужик – с самим Зевсом на равных! Да не мнись – иди глянь на детей, жену поцелуй...

Амфитрион, не чуя ног под собой, послушно обошел ложе, поцеловал в щеку тихую и какую-то чужую Алкмену – и почувствовал, что губы его помимо воли расплзаются в совершенно дурацкую и безумно счастливую улыбку.

Два совершенно одинаковых личика – сердитых, безбровых, еле выглядывающих из пеленок – одновременно сморщились, и двухголосое хныканье огласило гинекей.

– Алкид и... Ификл, – вслух подумал Амфитрион. – Да, так я и назову вас: Алкид и Ификл. А боги... боги пусть разбираются сами. Да, дети? Мы-то с вами разберемся, а боги пусть сами...

– Совсем ошалел на радостях, – с притворным раздражением буркнула Навсикая. – Городишь невесть что... Лучше вели кому-нибудь бежать в город и кричать, что у тебя двойня!

– Обойдутся, – отрезал Амфитрион. – Нам спешить некуда – завтра все равно узнают, так что не будем пинать судьбу. И вот что...

Он еще раз посмотрел на близнецов и наугад ткнул пальцем в того, что лежал слева от Алкмены.

– Этот похож на меня, – уверенно заявил Амфитрион. – Клянусь небом, вылитый я!

– А этот? – спросила Навсикая, указывая на второго.

– А этот – на Громовержца!

И еле удержался, чтоб не расхохотаться при виде серьезно кивающих нянек.

Сейчас Амфитрион уже напрочь забыл о странной Галинтиаде, дочери Пройта, словно ее и не существовало вовсе; ничего не знал он и о том, что на его родине в златообильных Микенах, откуда Амфитрион был изгнан родным дядей Сфенелом за убийство другого родного дяди (а заодно и тестя), ванакта¹⁷ Электриона, что у властолюбивого Сфенела и Никиппы, дочери коварного Пелопса¹⁸ и внучки проклятого богами Тантала, не далее как вчера вечером родился хилый и недоношенный мальчик.

Первый сын после двух дочерей.

Мальчика назовут Эврисфеем, и он, как это ни странно, выживет – что лишит Амфитриона и его потомков надежды на будущее воцарение в родных Микенах.

Нет, ничего этого Амфитрион не знал – да и узнай он о рождении Эврисфея, все равно не омрачился бы духом, ибо не был в сущности склонен к правлению городами. Рассмеялся бы, налил бы в кубок черного хиосского вина и выпил бы до дна во здравие всех детей, родившихся в эти дни.

И очень удивился бы, если бы какой-нибудь прорицатель сообщил ему, что через полвека с лишним его жене Алкмене принесут седую голову нынешнего мальчика по имени Эврисфей – и Алкмена выколет у этой страшно оскаленной головы мертвые глаза своим ткацким челноком.

Очень удивился – и не поверил бы.

А зря.

3

– Мойры!

– А я тебе говорю – Илифии!

– А я говорю – Мойры!

– Ну и дурак! Станут Мойры сидеть на пороге у какой-то Алкмены! Тоже мне...

– А вот и станут, если по приказу Геры!

– Станут-сядут... Оба вы олухи! И вовсе не Илифии, и уж тем более не Мойры (будут они Геру слушаться!) – а сестры-Фармакиды!

¹⁷ *Ванакт* (ванака) – царь. (В Микенах правили цари, более высокие по титулу и общественному положению, чем басилеи.)

¹⁸ *Пелопс* – сын Тантала, убитый отцом (Тантал, приготовив из Пелопса еду, предложил ее Олимпийцам) и воскрешенный Гермием по приказу Зевса. Позднее Пелопс коварно сбросил со скалы Миртила – возничего, сына Гермия – и тем самым навлек проклятие на весь свой род. Среди Пелопидов начались кровавые распри братьев, матереубийства и т. п.

Третий голос... тридцать третий... триста тридцать третий голос... Шумят Фивы, ох шумят...

– Да какая вам разница, кто сидел? Главное, что роды задержали... У Никиппы в Микенах семимесячный родился – у-у, Танталово племя! – и ничего, а у Алкмены первенький едва вылез, а второй вообще через неделю...

– Ой, сестры! Ой, посмотрите на дурищу-то! И деткам своим покажите! Это ж не баба, это ж корыто глупости! Через неделю... Ты ж сама рожала, толстая, должна понимать, небось!

– Это я толстая? Это я-то толстая?! Это ты толстая!

Дерутся женщины в Фивах... дерутся, спорят, друг дружку перекрикивают. Откуда им знать, когда у Алкида брат-близнец Ификл родился, – если про первенца слушок сразу побежал, чуть ли не с первым криком младенческим, а про второго-то сплетня припоздала, на целый день, почитай, задержалась... и то – пока сказали, пока услышали, пока поверили да проверили...

Шумят Фивы, ох шумят... Спят братья-близнецы Алкид с Ификлом, знать ничего не знают, ведать не ведают, грудь сосут, пузыри пускают, не слушают голосов глупых, и того голоса визгливого не слышат, что и другими не больно-то услышан был!

– Жаль!

– Чего жаль, Галинтиада?

– Жаль, что вторую жертву принести не успели! Кто ж мог знать, что у нее двойня... Поздно узнали мы, поздно!

– Да зачем нам второй, Галинтиада? Первый – герой, Избавитель; а второй? Ификл Амфитриад – невелика слава!

– Жаль... ах жаль...

И снова тихо.

Да где там тихо – шумят Фивы, во всю глотку шумят, месяц шумят, другой, третий, полгода шумят...

Когда угомонятся?

4

...Жара взяла семивратные Фивы в осаду.

Гелиос в раскаленном добела венце – полководец умелый и беспощадный – обложил город пылающим воинством своих лучей, и тщетны были все попытки владыки ветров Эола прорваться в изнемогающие Фивы и освежить их дыханием хотя бы Зефира – потому что неистовый северный Борей-воитель умчался на косматых крыльях в Гиперборею, нимало не заботясь судьбой злосчастных Фив.

Дом Амфитриона также не был обойден вниманием раздраженного Гелиоса – что совершенно неудивительно, ибо даже великие герои страдают от жары подобно последним рабам, и это наводит на неутешительные мысли о всеобщем равенстве. Тишина царила во всех покоях, взмокая, разомлевшая тишина; рабы, слуги и члены семейства хозяина дома искали прибежища в ненадежной тени – и лишь из западных покоев доносился веселый шум детской возни.

Один угол этих покоев был надежно огорожен четырьмя боевыми щитами Амфитриона – хотя нет, центральный щит был парадным, с искусным барельефом, изображавшим Зевса, глотающего свою первую жену Метиду; в реальном бою такое украшение скорее мешало, чем помогало, – и там, за этими щитами ползали восьмимесячные близнецы Алкид и Ификл, галдя, агукая и выясняя свои нелегкие отношения.

Дети великого Амфитриона и целомудренной Алкмены.

Или, вернее, дети божественного Зевса, великого Амфитриона и целомудренной Алкмены.

Повод для сплетен и пересудов по всей Элладе.

Напротив, сидя на низком ложе, клевала носом дряхлая нянька Эвритея. Впрочем, голова почтенной Эвритеи, чья иссохшая ныне грудь выкормила в свое время немало достойных фиванцев, в последние пять лет стала слишком тяжелой для тощей старушечьей шеи и тряслась практически всегда – так что лишь из-за этого не стоит упрекать Эвритею в излишней сонливости.

Тем более что трое няnek помоложе спали уже давно, развалившись на циновках у стены, и их крепкий здоровый сон не вызывал у постороннего наблюдателя никаких сомнений в его подлинности.

– Дай! – донеслось из-за щитов, и в щели мелькнула сперва розовая младенческая спина, а после и то замечательное место, по которому любят шлепать мамы не только в семивратных Фивах. – Да-а-а-ай!..

Звук оплеухи, возня, протестующие вопли... тишина.

Тишина.

Кто обвинит спящих, если в жаркий воздух летнего дня исподволь вкралось дыхание Сна-Гипноса, божества темного и неотвратимого, как и его старший брат, не знающий жалости Танат-Смерть?!

Поэтому раскачивающаяся в полудреме Эвритея была единственной, кто заметил некое движение на полу, и старуха отнюдь не сразу поняла, что оно означает.

– Да-а-а-ай! – еще раз послышалось из огороженного угла.

Тишина.

Две маслянисто-отсвечивающие ленты лениво скользили от порога к щитам, изредка задерживаясь и приподнимая узкие треугольные головки; они текли беззвучно, они были невинны и ужасны, и дряхлая нянька следила за ними сперва равнодушно, потом, когда понимание забрезжило в ее мозгу, – испуганно; а родившийся в горле крик распух и застрял, мешая дышать и лишь слабым хрипением пробиваясь наружу.

С перепугу Эвритее показалось, что змеи гораздо больше, чем они были на самом деле, что они – порождения Ахерона, реки подземного царства мертвых, что чешуя их отливает грозным огнем Бездны Вихрей; и голова старухи впервые за последние годы перестала трястись, застыв в оцепенении. «Зевс Всеблагий, – Эвритее казалось, что она кричит, но на самом деле губы ее лишь беззвучно шевелились, – матушка наша Афина-Тритогенейя... дети!.. Дети, дети, де...»

И было совершенно непонятно, молится ли старая нянька, и если молится, то кому – Зевсу, Афине или каким-то странным детям... Впрочем, все мы дети, чьи-то дети – и Зевс, сын Крона, и Афина, дочь Зевса, и нянька Эвритея, дочь вольноотпущенника Миния Лопоухого.

Возня за щитами на миг прекратилась.

Две змеи сплелись в один клубок, и две головки, растревоженно постреливая жалами, неуловимым движением просунулись в щель между парадным щитом и обычным, боевым, с изображением пылающего солнца; и тут же вынырнули обратно.

– Да-а-ай!..

Две пухлые ручки показались в щели. Они возбужденно хватали воздух растопыренными пальцами, ссорясь, отталкивая друг друга, норовя догнать убежавшую игрушку... Позднее, когда Эвритея будет в сотый раз рассказывать о случившемся ахающим рабам и слугам, она выставит перед собой руки, задумается, пожует запавшими губами, отрицательно покачает головой и левой рукой возьмет за локоть стоящую рядом рабыню. Так и будет показывать: рука Эвритеи и рука рабыни. Только никто не поймет, что же хотела этим сказать выжившая из ума старуха, никто не поймет, а зря.

Обе руки были правые.

...Дрогнул парадный щит, раскачиваемый изнутри, детские руки втянулись за ограду, следом за ними шмыгнули змеиные головы – и тут одна из подпорок не выдержала. Что-то закрипело, треснуло, поплыл вбок барельеф, изображавший заглатывание несчастной Метиды, края двух щитов – тяжелого парадного и более легкого, боевого – резко сошлись, подобно гигантским ножницам, клубок на полу завязался немыслимыми узлами, наливаясь упругой силой...

И обмяк.

Когда центральный щит с грохотом рухнул – к счастью, наружу, – Эвритея нашла в себе силы закричать.

Пока молодые няньки-засони продирали глаза да соображали, что к чему, в покои уже ворвалась испуганная Алкмена. Не останавливаясь, она кинулась к детям, с разгона упала на колени и принялась ощупывать малышкой.

Мало-помалу до нее дошло, что ничего страшного не случилось, что дети живы-здоровы и можно спокойно повернуться и отвести душу на нерадивых няньках. Она глубоко вздохнула, набрав воздуха, отчего прекрасная полная грудь Алкмены стала еще прекраснее и полнее, бросила на детей последний взгляд – и увидела, что держит в руках торжествующий Алкид.

Весь набранный воздух пропал втуне, вылетев ужасным воплем, к которому немедленно присоединились няньки. Женщины кричали, старая Эвритея силилась приподняться с ложа, юный Алкид вертел в руках двух дохлых змей, держа их за перебитые шеи и силясь засунуть одну из голов в рот, а вокруг него ползал красный от возмущения Ификл и орал не своим голосом:

– Дай! А-а-а... да-а-ай!..

Вдруг он успокоился, вытащил из-под рухнувшего щита змеиный хвост и принялся деловито обматывать им ногу брата.

Как раз к этому времени в покоях объявился всклокоченный Амфитрион, совершенно голый, зато с мечом в руке; следом за ним вбежало человек пять-шесть челяди, и не прошло и часа, как все Фивы знали о случившемся, причем у каждого фиванца было свое мнение на этот счет.

А к вечеру в дом Амфитриона прибыл самый знаменитый в Элладе прорицатель, женоподобный слепец Тиресий.

Его проводили в печально известные покои, дали потрогать змей, лежавших на полу у стены, после чего подвели к детям, сидевшим на руках у нянек.

– Змеи Геры, – глубокомысленно возвестил Тиресий, вытирая о льняной хитон палец, которым он только что трогал змеиные зубы.

– Змеи Геры! – зашептались вокруг со значением, и у слепца хватило ума не объяснять, что эти змеи всего-навсего неядовитые полозы, каких может приобрести в храме Геры любая рабыня, довольная своими хозяевами (или собственным мужем!), приобрести и пустить жить под дом, посвятив их богине домашнего очага.

Считалось, что это способствует благосостоянию и миру в доме.

– Мальчик вырастет героем! – Тиресий ткнул пальцем вверх, подумал, не сказать ли «великим героем», и решил не скупиться.

Тем более что однажды он уже пророчествовал Амфитриону примерно о том же.

– Величайшим героем Эллады! – громогласно уточнил Тиресий и почувствовал, как у него холодеет затылок. Это случалось с ним нечасто, лишь тогда, когда волна истинного предвидения накатывала на слепца, – и он не любил эти мгновения, не любил и опасался их, потому что за истину мало платили; и еще потому, что Тиресий до колик, до боли в желудке боялся открывавшегося ему будущего.

Уже у дверей Тиресия робко тронули за плечо.

– Прости, господин мой, – еле слышно прошамкала старая Эвритея, – я о мальчике... ты тут сказал – героем, мол, будет... Который мальчик-то, господин?

– Вон тот, – Тиресий указал себе за спину и, сопровождаемый рабом-поводырем, двинулся дальше.

– Тот? – переспросила старуха. – Который – тот? Ведь их двое!.. Двое ведь мальчиков, господин мой!..

Но ее уже никто не слушал.

5

Выйдя из дома Амфитриона, Тиресий неторопливо двинулся по улице, сжимая правой ладонью мускулистое плечо поводыря и легонько постукивая о дорогу концом посоха, зажатого в левой.

Он давно привык к своей слепоте, сжился с ней, даже полюбил в некоторой степени этот мрак, позволяющий спокойно рассуждать и делать выводы; он иногда чувствовал себя чистым духом, по воле случая заключенным в горе жирной плоти, – и поэтому зачастую бывал неопределен и рассеян.

Единственное, к чему Тиресий никогда не мог привыкнуть, – это к дару прозрения.

Предсказывать людям будущее, основываясь на обычном знании людских чаяний и стремлений, на умении складывать крохи обыденного в монолит понимания, – о, это было для Тиресия несложно! Он слушал, запоминал, сопоставлял – и предсказывал, причем делал это не туманно и двусмысленно, подобно дельфийскому оракулу, а просто и однозначно, за что Тиресия любили правители... и, наверное, любили боги.

За это – любили.

Зато когда темная и ненавистная волна прозрения захлестывала его с головой, когда он тонул в будущем, захлебываясь его горькой мякотью, и потом его рвало остатками судьбы – тогда Тиресий зачастую сам не понимал смысла своих ответов, или понимал слишком поздно, что было мучительно.

Но в эти минуты он не мог молчать.

...Впрочем, сегодня он и сказать-то толком ничего не смог. Потому что уже на пороге, перед самым уходом, когда в спину что-то бормотал старушечий голосок, Тиресия оглушил рокот той преисподней, которую Тиресий звал Тартаром, и рокот этот странным образом переплетался со звенящим гулом тех высей, которые Тиресий звал Олимпом... два голоса смешивались, закручивались спиралью, превращаясь в пурпурно-золотистый кокон (Тиресий не был слепым от рождения, и память его умела видеть), и там, в двухцветной глубине, ворочалось двухтелое существо с одним детским лицом, излучая поток силы без конца и предела, дикой первозданной мощи вне добра и зла, вне разума и безумия, вне...

Тиресий остановился, крепко сжав плечо раба-поводыря и уставясь перед собой незрячими глазами.

В конце улицы, упирающейся в базар, приплясывал тощий и грязный оборванец в драной хламиде с капюшоном. В руках нищий держал двух дохлых змей, пугая ими прохожих, которые сторонились оборванца и ругались вполголоса. Наконец нищий умудрился засунуть одну змею в корзину какой-то женщины – причем сделал это настолько умело, что сама женщина ничего не заметила, – после чего уgomонился и подошел к Тиресию.

– У-тю-тю! – нищий вытянул губы трубочкой и сунул голову оставшейся змеи в лицо слепому, ловко увернувшись при этом от кулака раба-поводыря. – Угощайся, старичок!

– Кого ты хочешь обмануть, Гермий? – тихо спросил Тиресий, жестом отпуская поводыря. – Меня, сына нимфы Харикло? Обманывай зрячих, Лукавый, лги закосневшим в зрячей слепоте!

– Зачем мне обманывать тебя, старичок? – рассмеялся нищий, гримасничая. – Ты и сам себя обманешь, без меня!

– А вот зачем, – Тиресий протянул руку и коснулся головы дохлой змеи. – О-о, – почти сразу добавил слепец. – У тебя хорошая игрушка, Гермий-Киллений!¹⁹ Эти змеи дают человеку вдохнуть – а выдохнуть он уже не успевает... Я не удивлюсь, если узнаю, что эти замечательные змеи стали твоей игрушкой на половине их пути в дом Амфитриона! А дальше поползли уже совсем другие...

– Если узнаешь? – изумился нищий. – А разве ты не знаешь обо всем на свете, мудрый Тиресий?

– Нет, – спокойно ответил слепец. – Я не знаю обо всем на свете. Но и ты не всеведущ, Лукавый, – и в этом мы равны. Когда я вернусь домой – я принесу тебе жертву. Прощай.

И двинулся по улице, ощупывая дорогу концом посоха. Вскоре его догнал раб, ожидавший в стороне, и привычно подставил плечо под ладонь Тиресия.

Нищий долго смотрел им вслед.

– Твою душу я отведу в Аид с особым почетом, – пробормотал он, швыряя дохлую змею в спину проходившему мимо ремесленнику. – Впрочем, не думаю, что это случится скоро...

И побежал прочь, спасаясь от разгневанного прохожего.

6

– ...Мама! Иди посмотри! Ма-а-а-ма!..

Это кричит маленький Алкид трех с половиной лет от роду, воздвигающий из мокрого песка некое сооружение, столь же грандиозное, сколь и бестолковое. Он кричит звонко и чуть-чуть сердито, потому что мама все никак не подходит; курчавые волосы падают на его выпуклый лоб, все тело с головы до ног перемазано грязью, как у борца в палестре²⁰ после долгой схватки, и нижнюю губу он закусывает точно так же, как это делает Амфитрион, когда чем-то увлечен.

А может, это вовсе не Алкид, а его брат Ификл.

– Ку-утя! Кушай, кутя, кушай...

Это бормочет маленький Ификл трех с половиной лет от роду. Он сует палец в пасть недавно родившемуся щенку их гончей суки Прокриды, еще полуслепому и совершенно не умеющему лаять и понимать, что с ним играют. Щенок сосет палец, и Ификл заливисто смеется, а потом зачерпывает свободной рукой пригоршню грязи, обмазывает себя ею и закусывает нижнюю губу точно так же, как это делает Амфитрион, когда чем-то увлечен.

А может, это вовсе не Ификл, а его брат Алкид.

Все может быть...

Что вечно раздражает няnek и веселит челядь, выясняющих – кто есть кто? У кого болит животик – у Алкида или у Ификла? Животик в конце концов болит у обоих, и оба не желают пить горький лечебный настой, плюясь и вопя на весь дом. Кто разорвал любимый мамин пеплос, подаренный ей тетей Навсикаей, – Ификл или Алкид? Пеплос разорвали оба, и никто из няnek не понимает, как можно было успеть столь основательно изорвать прочное на вид полотно, оставшись без присмотра всего на минутку?!

Пробовали привязывать к руке Алкида витой шнурочек – но это спасало примерно до памятной истории со змеями. Потом же шнурочек неизменно слетал и терялся или вовсе пере-

¹⁹ *Киллений* (Килленец) – прозвище Гермия (Гермеса), родившегося на горе Киллене, в Аркадии.

²⁰ *Палестра* – частная гимнастическая школа для мальчиков 12–16 лет. Палестры имели открытые площадки, беговые дорожки, бассейны, крытые гимназии и т. д.

кочевывал к Ификлу, а то и оба брата гордо щеголяли одинаковыми шнурками, приводя нянек в полное недоумение.

Так что в итоге противное лекарство пили оба, и одежда шилась сразу на двоих (когда только снашивать успевают, неугомонные!), и по мягкому месту влетало поровну; и уж тем более редкая нянька могла потрепать по голове одного сорванца, чтобы тут же не взъерошить волосы второму – упаси Зевс, не того лаской обделила!

Только Алкмена безошибочно различала близнецов – так на то она и мать.

И любая нянька, любой раб или вольноотпущенник, всякий свободный человек, зашедший в дом Амфитриона, – короче, все считали само собой разумеющимся то, что чуть-чуть больше материнской любви перепадало маленькому Алкиду. Совсем капельку, кроху, мелочь...

Еще бы – оба свои, родные, но старшенький-то сын САМОГО!

Понимающе кивали няньки, переглядывались рабы, улыбались гости – и мрачнела Алкмена, ловя на себе взгляды мудрых богобоязненных фиванцев. Самой себе боялась признаться дочь микенского правителя Электриона, что обе руки свои отдаст она за сыновей, но правую руку Алкмена отдала бы за Ификла, за младшего, за сына того хмурого неразговорчивого воина, которого выбрала она однажды и навсегда, чья колесница грохотала по краю обрыва, и в грохоте этом слышалось одно имя «Алкме-ена», и «Алкме-ена» свистел кривой нож в перелуке, вспарывая горло насильнику; и еще имя свое она читала в глазах Амфитриона каждую ночь.

А левую руку, не раздумывая, она отдала бы за Алкида, которого Алкмена еще ни разу вслух не назвала сыном Зевса.

Обе руки одинаковые, как близнецы, да не совсем...

Вот потому и не ошибалась никогда Алкмена, глядя на детей своих.

– ...Мама! Иди! Ма-ама!..

Алкмена знает, что это кричит Алкид.

– Ку-утя! Кушай, кутя...

Алкмена знает, что это бормочет Ификл.

Она сидит на скамеечке у входа в гинекей, руки ее привычно заняты шитьем, и круглое миловидное лицо не выражает ничего, кроме покоя и удовлетворенности. Она хорошо научилась притворяться в последнее время – Алкмена, жена Амфитриона.

Еще одна лепешка грязи шлепается на произведение искусства, дело рук великого архитектора Алкида; полуслепой щенок отползает от задумавшегося Ификла (палец, которым он только что кормил щенка, Ификл теперь сосет сам и целиком поглощен этим занятием) и, смешно виляя задом, приближается к крепости из мокрого песка.

А маленький Алкид смотрит куда-то вдаль, поверх сооружения, и в глазах его исподволь разгорается черное пламя; и прислушивается к чему-то юный Ификл, словно рокот огня в глазницах брата донесся до него и заставил нахмуриться не по-детски.

Ползет щенок, виляет задом... тыкается глупой мордочкой в теплое и грязное бедро, пахнущее домом, уютом, покоем...

Они закричали почти одновременно – Алкид и Ификл, – только в вопле Алкида звучало странное торжество и гул древних глубин, крик его тек подобно лаве, вырвавшейся наружу и сжигающей все на своем пути; а в крике Ификла смешивались испуг ребенка в темной комнате и ужас взрослого, встретившего непознаваемое.

Алкид кричал как жрец над жертвой, распростертой на алтаре; Ификл – как жертва под ножом.

А потом пальцы Алкида с недетской силой вцепились в щенка, вознес его вверх и тут же ударив спиной оземь, и еще раз, и еще...

– Отдай! Ку-утя!..

Едва ли с меньшей силой схватил Ификл брата за руки, и оба мальчика рухнули на крепость из мокрого песка, барахтаясь в грязи, подмяв под себя еле слышно скулившего щенка, – и когда подбежавшие няньки растащили детей в разные стороны, то не одной из них пришлось задуматься: какой же мощью обладает юный сын Зевса, если три взрослые женщины еле смогли удержать его, ребенка трех с половиной лет?

Рядом безутешно плакал Ификл, утирая глаза испачканными ладонями и плача еще громче от рези под веками; и стояла над ним дряхлая Эвритея, единственная, кто подумала: «Три взрослые женщины с трудом удерживали бьющегося в истерике Алкида, но, пока мы подбежали, его удерживал Ификл, вот этот... или не этот?.. Зевс-Тучегонитель, кто же из них кто?!»

У ног Эвритеи лежал мертвый щенок со сломанным хребтом; невинная жертва непонятного случая.

Завтра охотники, возвращающиеся в Фивы со стороны Кадмеи, обнаружат в роще, посвященной воинственному Аресу-Эниалию, большой камень. Камень окажется кем-то обтесанным в форме жертвенника – обтесанным поспешно, на скорую руку, – и на камне-алтаре будет хорошо видна запекшаяся кровь. Рядом с камнем охотники увидят пепелище отгоревшего костра – свежее пепелище, вчерашнее, – а в золе будут лежать почерневшие сверху кости.

Человеческие кости.

Об этом донесут базилею Креонту, он прикажет учинить розыск, но это ни к чему не приведет. Свободные граждане все окажутся живы-здоровы, а если кто-то и решил принести раба в жертву Аресу или иному божеству, то это его личное дело, и никого оно не касается.

Младший из охотников заикнется было о том, что в роще неподалеку околачивалась старая карлица Галинтиада, полубезумная служительница Трехтелой Гекаты, известная всему городу, – но его поднимут на смех, базилей Креонт недоуменно пожмет плечами, да тем дело и кончится.

7

– Послушай, Автолик, – Амфитрион вздохнул и отодвинул от себя недопитую чашу.

Он не любил белые вина, притом разбавленные столь сильно, но дело было не в этом.

Сидящий напротив Автолик лениво обгрызал жареного дрозда и ждал продолжения.

«В поисках этого человека я исколесил всю Беотию, преодолел Истмийский перешеек и поймал его только здесь, в Арголиде», – напомнил сам себе Амфитрион, заметив, что начинает тяготиться молчаливостью Автолика и его ироничной, слегка насмешливой улыбкой.

Они были похожи: Амфитрион, сын Алкея, внук Персея и правнук Зевса, и Автолик, сын Гермеса и внук Громовержца; тот, кого называли хитрейшим из эллинов.

Оба – мощные, плотно сбитые мужчины, способные поспорить друг с другом числом шрамов, полученных в прошлых битвах; оба – обманчиво-медлительные, даже слегка грузные, твердо стоящие на земле и знающие цену женщинам, дружбе и золоту; разве что взгляд Амфитриона всегда был направлен в лицо собеседнику, чего никогда не делал Автолик, выражение глаз которого даже в напряженнейшие минуты оставалось насмешливым и рассеяннo-невнимательным.

Не зря горбоносого Автолика, сына лукавого и непостоянного Гермеса, честили на всех диалектах от Додоны до Родоса, обзывая клятвопреступником, похитителем стад и совратителем юных дев, – обзывая, но не имея ни единого доказательства, обвиняющего конкретно Автолика, ибо он (как и его божественный отец) никогда не попадался с поличным.

Более того – даже клясться Автолик²¹ (достойный своего имени, данного ему Гермесом-Лукавым) умел так, что потом, нарушая клятву по существу, никогда не нарушал ее формально.

– Послушай, Автолик, – Амфитрион вздохнул, отодвинул чашу и решил не забивать себе голову излишними размышлениями, – я ведь к тебе в Аргос не просто погостить заехал. Всем известно, как ты искусен в борьбе...

– Можем и побороться, – Автолик усмехнулся в кудрявую бороду и повернулся к гостю, опершись на локоть так, что могучие мышцы заиграли на слегка напрягшейся руке.

– Зачем? Я и без того знаю, что ты – лучший борец, чем я...

Это было правдой. Амфитрион знал, что в борцовском состязании между ним и Автоликом победа достанется сыну Гермеса. Разве что в бою, где нет ни судьи с раздвоенным посохом, ни правил... Впрочем, если это будет бой без оружия, то победу опять одержит Автолик, потому что излишняя приверженность правилам никогда не отличала лукавого сына лукавого отца.

Не зря Гермес-Киллений считался покровителем не только атлетов, но и воров.

– Зачем? – еще раз повторил Амфитрион. – Просто мне сообщили, что ты не только искусный борец, но и умудренный учитель. Ты ведь не станешь отрицать, что у тебя есть ученики!

– Есть, – согласно кивнул Автолик, все еще не понимая (или делая вид, что не понимает), куда клонит Амфитрион. Однако умные карие глаза борца – глаза скорее искушенного стратега, нежели простого атлета – исподтишка внимательно следили за гостем. И когда Амфитрион заговорил снова, в глазах этих мелькнуло нечто, заставляющее думать, что Автолик заранее знал, о чем заговорит его гость.

– Басилей Креонт будет счастлив, если такой человек, как ты, Автолик, поселится в Фивах – пусть даже временно. А я... поверь, я не поскуплюсь. Дело в том, что у меня растут сыновья. Пока им еще нет и пяти, но дети растут быстро. Я хочу, чтоб они выросли настоящими мужчинами.

Амфитрион немного подумал.

– Воинами, – уточнил он.

Потом еще немного подумал.

– Героями, – слегка улыбнувшись, уточнил в свою очередь Автолик, когда Амфитрион уже открыл рот, чтобы сказать то же самое.

– Да, героями! – с некоторым вызовом согласился Амфитрион.

– Пожалуй, – задумчиво протянул Автолик, разглядывая на просвет ломтик вяленого мяса. – Но герой должен быть один. Как ты. Как я. А у тебя двое.

– Диоскуров тоже двое, – упрямо бросил Амфитрион. – Они – родные братья по матери. И при этом Кастор – сын Тиндарея, а Полидевк – сын Зевса. Кстати, Кастор согласился учить моих детей владению оружием. Его мне даже не пришлось уговаривать...

– А почему не искусству колесничего? – хитро спросил Автолик, продолжая изучать злополучный ломтик. – Кастор повсюду хвастается своим умением укрощать коней; многие считают его лучшим, и не только на Пелопоннесе.

– Ну... – замялся Амфитрион, не зная, как объяснить Автолику, что искусству колесничего он будет учить детей сам, считая славу Кастора несколько дутой.

– Ладно, – великодушно прервал его Автолик. – Какая разница? Да, ты прав – Диоскуров двое. Хотя ума у обоих не наберется даже для одного... И у тебя двое. А герой все-таки должен быть один. Или ты ищешь учителей только для старшего? Как его зовут – Алкид, да? Хорошее имя... сильное.

²¹ Автолик – досл. «сам себе волк», т. е. «волк-одиночка».

Амфитрион в раздражении отхлебнул из чаши, заливая вином хитон на груди.

– Я хотел просить тебя, Автолик, чтобы ты учил обоих. Одинаково. Учил борьбе. И не делал между Алкидом и Ификлом никаких различий. Как не делаю этого я.

«Кажется, я зря потратил время, – подумал он, – а жаль. Полидевк отказался учить мальчишек кулачному бою, теперь еще этот... Поехать в Мессению, к Идасу Афариду?»

Автолик поскреб рукой подбородок, раздвинув пряди курчавой бороды, – и вдруг уставился поверх каменного парапета террасы, оглядывая двор, как если бы увидел там что-то необычное.

Амфитрион невольно взглянул туда же.

По двору шел худощавый человек в поношенной хламиде. Лица человека не было видно из-за низко надвинутого капюшона, но шел он легкой юношеской походкой, чуть ли не при-танцовывая. Человек показался Амфитриону смутно знакомым, и Амфитрион вздрогнул. Нет, ему совсем не хотелось возвращаться к событиям почти пятилетней давности, когда...

Нет.

Он не хочет об этом вспоминать.

Да и идущий человек уже пересек двор и исчез, как показалось Амфитриону, слегка кивнув на прощание.

– Я согласен, – медленно проговорил Автолик, и в глазах его вновь появилось прежнее насмешливое выражение. – Когда ты хочешь, чтобы я перебрался в Фивы?

8

Когда drobный конский топот затих, а колесницы Амфитриона и его сопровождающих скрылись за поворотом дороги, но пыль, поднятая ими, еще не успела осесть, – человек в дра-ной хламиде с капюшоном по-хозяйски вошел в дом, поднявшись на террасу, скинул свое рва-нье и нахально уселся в кресло, с которого не так давно поднялся уехавший Амфитрион.

Это оказался темноволосый юноша с горбатым породистым носом, одетый в щегольской хитон, подпоясанный искусно расшитым поясом, и красно-коричневые сандалии из мягкой кожи, которые юноша поленился снять. Отхлебнув из недопитой чаши, незванный гость улыб-нулся, но глаза его при этом оставались серьезными.

Не бывает у юношей таких глаз, чем-то похожих на глаза приподнявшегося в соседнем кресле Автолика.

– Радуйся,²² отец.

Это сказал не юноша.

Это сказал Автолик.

– Привет, сынок, – беззаботно отозвался юноша. – Как жизнь, как настроение? Говорят, собираешься в Фивы?

– Я согласился, отец. Увидел тебя и – согласился.

– Ты у меня всегда был понятливым. Амфитрион, между прочим, неглуп... и он прав – готовить надо обоим. Одинаково. На всякий случай.

– Готовить – к чему?

– Ко всему. Людям нужен герой. И твоему дедушке там, на Олимпе, тоже нужен герой. Куда ни плюнь – всем нужен герой...

И юноша весьма метко запустил обглоданной птичьей ножкой в висевший на стене шлем – знаменитый кожаный шлем Автолика, усеянный кабаньими клыками.

²² *Радуйся* (греч. хайре) – обычное приветствие у эллинов.

...А колесницы Амфитриона в это время неспешно пылили по извилистой дороге прочь от Аргоса, и по обе стороны от дороги возвышались девственно-зеленые холмы. Изредка в отдалении можно было заметить пасущиеся стада, напоминавшие снежные шапки гор. Стояла ранняя осень, солнце припекало, и ничто не нарушало покой раскинувшегося вокруг мирного пейзажа.

Кони шли медленно – а куда спешить-то? – и так же неторопливо текли мысли Амфитриона, на время доверившего поводья вознице.

Впрочем, мысли его были медленными, но отнюдь не такими мирными, как окружающий пейзаж.

Автолик в конце концов согласился – и это было хорошо. Не только искусству борьбы научит он подрастающих близнецов – но и наверняка передаст им немалую долю своей знаменитой хитрости, которую Автолик унаследовал от отца своего, Гермеса-Психопомпа, то есть Проводника душ.

А борьба без хитрости – как копье без наконечника.

Кастор Диоскур тоже согласился учить братьев бою в полном вооружении – и это опять же хорошо. Биться с Кастором, хоть на копьях, хоть на мечях, Амфитрион без крайней нужды не стал бы. Силен лаконец Кастор, брат неукротимого Полидевка, силен и беспощаден. Одна беда – горд непомерно. Возомнил себя лучшим колесничим Пелопоннеса – да только ли Пелопоннеса? Ладно, пускай тешит самолюбие...

Амфитрион помимо воли самодовольно усмехнулся, огладив бороду.

Нет уж, колесничному делу он и сам сыновей обучит. Кастор, правда, может обидеться... Ну и Тартар с ним! Лишь бы приехал в Фивы, как обещал, а там уговорим, удержим. Глядишь, и брат его, Полидевк, кулачный боец, объявится – не вытерпит, сперва переучивать возьмется, после показывать новое, ну и (чем Мойры не шутят?!) застрянет в палестре на год-два...

Разные учителя понадобятся. И не только – воины. Кстати, прямо перед отъездом Амфитриона явился в Фивы Лин, брат божественного Орфея. Вроде как поселиться решил... Хвала Аполлону Мусагету,²³ ежели так – лучшего наставника-кифареда и не сыскать!

Молоды будущие учителя, молоды да горячи. Лину – тридцать один, самый зрелый, Автолику – почти тридцать, Кастору – тому вовсе двадцать пять сровнялось. Можно было и постарше сыскать – можно, да нельзя. Нашел Амфитрион именно тех, кого хотел найти. Упрям и зол Кастор, хитер и вынослив Автолик, Лин все Орфею его таланта простить не может, – сурово учить будут, многого потребуют от детей, не пожалеют по малолетству, послабления не дадут.

Вот тогда, Олимпиец, поглядим – кто рассмеется последним! Все знают, что Алкид – твой сын; и лишь мы с тобой, грозный Дий, Зевс-Отец, Бронтей-громовник, знаем правду. Знаем и оба будем молчать. Я – потому что дороги мне жизни детей и жены (да и своя небезразлична). Ты – потому что дороги тебе твоя честь и мужское достоинство. Да, я промолчу, Олимпиец, я проглочу все слова, которые хотел бы бросить тебе в лицо; Эльпистик уже заплатил за мой длинный язык крюком в собственном затылке – хватит! Я промолчу. Я не буду улыбаться исподтишка в твоих храмах.

Но мы-то с тобой будем знать правду, Олимпиец, ночной вор!

К Данае ты явился золотым дождем, к Европе – быком, к Алкмене же ты пришел мною – значит, мой облик тебе пришелся впору! По плечу, по росту, по мерке... тесно не было, Громовержец?

И ты будешь вздрагивать, видя, что земной человек, смертный, сын смертного, делает то, что должен был совершать полубог, сын великого Зевса!

Да он и будет полубогом для всех, кроме нас с тобой...

²³ *Musaget* – Предводитель Муз, одно из прозвищ Аполлона.

Все свершится, все произойдет так, как ты хотел... только ты, Олимпиец, тут будешь ни при чем!

Ведь так? Ну ответь, ударь молнией, громохны с ясного неба!

Тебе нужен герой, равный богам?

Ты его получишь.

И это будет единственная месть, которую я, Амфитрион Персеид, могу себе позволить.

9

Из-за очередного поворота дороги показались несколько глинобитных хижин с тростниковыми крышами – деревня. Ничего особенного в ней не было, во время походов Амфитрион повидал великое множество таких поселений – и с ликованием встречавших победителя, и угрюмо молчавших, и черных, сгоревших, с трупами на порогах бывших домов.

И вот таких, мирных, деловитых, похожих друг на друга, как близнецы, в своих ежедневных заботах.

В другой раз Амфитрион проехал бы мимо, не задерживаясь, но сейчас его внимание привлекла толпа людей на окраине деревни, с трех сторон обступившая что-то, видимо, местный алтарь, потому что над ним поднимался в небо густой, с копотью дым.

Амфитрион тронул за плечо возницу, и тот послушно придержал коней. Тогда Амфитрион выбрался из колесницы и направился к толпе, заодно разминая затекшие ноги.

На него никто не обратил особого внимания. Ну, остановился какой-то богатый путник, захотел почтить богов вместе со всеми или просто решил поглазеть – что с того?

– ...приношу эти тяжелые колосья, и плоды деревьев наших, и масло благоуханных олив – тебе, юный полубог, Безымянный Герой, Истребитель Чудовищ, сын державного Зевса и прекрасной Алкмены, твоей последней земной женщины, о Дий-Тучегонитель...

Амфитрион вздрогнул от неожиданности, но этого никто не заметил, а сам лавагет тут же привычно взял себя в руки, продолжая внимать седому высохшему жрецу, чье лицо напоминало вырезанную из дерева маску.

– ...прими жертву нашу, герой-младенец, прими то, что приносим мы тебе от чистого сердца, и пусть укрепится дух твой, и удесятерятся силы...

Жрец вещал что-то еще, но Амфитрион уже не слушал его.

Эти люди знали! Здесь, в отдаленной и глухой аргонидской деревушке, люди знали, что у его жены родился сын от Зевса; его, Амфитриона, позор оборачивался для них надеждой на будущего героя, Истребителя Чудовищ, и эти забытые крестьяне уже приносили ребенку жертвы, видя в нем грядущего избавителя.

Им не нужен сын Амфитриона.

Им не нужен такой же, как они.

Им нужен герой-полубог.

Забитые селяне и грозный Зевс – им нужно одно и то же.

«И они его получают, – озлобленно думал Амфитрион, садясь в колесницу и хлопая возницу по спине. – Они забывают, что полубог в то же время – получеловек... Они получают героя!..»

Жрец продолжал бубнить свое, люди беззвучно шептали молитвы – а возница уколол лошадей стрекалом, упряжка рванула с места в карьер, словно почуяв настроение хозяина, и колесница Амфитриона (а следом за ней и две другие) скрылась в облаке пыли за поворотом дороги.

– У них будет герой, – бормотал Амфитрион, сжимая тяжелые кулаки, – будет... О Зевс-соперник, неужели это и есть твой ответ?!

Небо молчало и постепенно темнело.

Когда оно окончательно нахмурилось, а колесницы успели умчаться далеко от арголидского селения, – из сумрачных теней выбрались четыре фигуры и направились к деревенскому жертвеннику, одиноко стоявшему посреди ночной тишины.

Один из пришельцев, одетый в шерстяной фарос, неспешно шел впереди; двое других, в коротких хитонах, подпоясанных простыми веревками, вели под руки последнего – совершенно обнаженного мужчину средних лет, чье тело, похоже, было натерто маслом, потому что кожа ведомого поблескивала, отражая призрачный свет восходящей луны.

Голый мужчина дышал часто и тяжело, белки его вытаращенных от ужаса глаз чуть ли не светились в окружающей темноте, но шел человек не сопротивляясь, словно в трансе переставляя негнущиеся ноги.

И лицо его было лицом раба.

Идущий первым остановился у жертвенника, неторопливо огляделся по сторонам, сгреб в кучу остатки хвороста у западной стороны алтаря, подsunул под нее клоч сена и ударил несколько раз кресалом. Брызнули искры, вспыхнул робкий огонек – и костер начал разгораться.

Двое державших обнаженного мужчину, словно повинаясь неслышному приказу, глухо завывали-замычали, но в их полужверином реве отчетливо проступал внутренний ритм, засасывающий, отнимающий волю; вскоре они уже раскачивались из стороны в сторону, как одержимые, – лишь стоявший у алтаря оставался недвижим.

И его сильный глубокий голос вплеся в песнь-вой, накладываясь и перекрывая:

– Жертву прими, Избавитель, младенец, Герой Безымянный, – жертву прими не по воле отца твоего, но тех, кто древней Громовержца...

– Тартар! Слышу Тартар! – поддержали сразу два голоса. – Слышим, отцы наши!.. недолго уже... недолго ждать...

– Волею Павших приносим мы жертву ночную, безмолвную дань по обычаю прашуров наших – не тех, кто воссел на Олимпе, богами назвавшись, но тех, кто низвержен до срока...

– Тартар! Слышу Тартар!..

Жрец в накидке еще выкрикивал какие-то слова – непонятные, нечеловеческие, – а двое его помощников уже опрокинули жертву спиной на алтарь. У обнаженного мужчины от жара затрещали волосы, хребет его, казалось, сейчас переломится, но он молчал, и лишь глаза его расширились еще больше от невероятного ужаса.

– Кровь нашей жертвы, рекою пролейся, кипящей рекою, впадающей в Тартар; рекою от Павших к Герою, от устья к истоку, от прошлого к дням настоящим... о медношеие, о змееногие, о уступившие подлости ваших соперников – ваших детей...

– О-о-о... отцы наши... недолго осталось ждать!

Кремневый нож, тускло отсвечивающий бликами костра, с хрустом вошел в левый бок жертвы; тело дернулось, но ни звука не сорвалось с плотно сжатых губ. Лезвие ровно двинулось наискось вверх, взламывая ребра, потом словно наткнулось на какую-то преграду... неуправляемое круговое движение – и тело жертвы обмякло, а жрец торжествующе поднял черный в свете луны, еще пульсирующий комок.

Сердце.

Кровь залила алтарь; часть ее попала в костер и негодуяще зашипела, возносясь сладковатым смрадом.

– Я слышу Павших, – голос жреца резко изменился, рокоча, подобно львиному рыку. – Они довольны. Они благословляют Безымянного. И недалек тот день, когда Избавитель сам принесет Павшим обильные жертвы.

В это время в далеких Фивах маленький Алкид со звериным рычанием катался по ложу, разрывая покрывало в клочья и брызжа пеной, выступившей на губах, а рыдающая Алкмена

вместе с двумя няньками все никак не могли утихомирить или хотя бы удержать его, пока в брата не вцепился горько плачущий Ификл.

– Алки-и-ид! Они плохие! Не отвечай им! Мама-а! Они плохие! Они зовут Алкида! Не отдавай его, мама-а-а!..

Но никто не вслушивался в странные слова, которые выкрикивал сквозь рыдания маленький Ификл.

Наутро мальчики никак не могли вспомнить, что случилось ночью. Наверное, обоим просто приснился плохой сон. Впрочем, ни Алкмене, ни нянькам тоже не хотелось вспоминать об этом кошмаре.

Но и забыть его они не могли.

А костер в аргolidской деревушке уже угас, лишь слабо тлели угли, подергиваясь серым налетом пепла. Удалились трое, растворились в ночи, унося с собой тайну страшного жертвоприношения, – и никто не заметил, как от растущего неподалеку дикого ореха отделилась юношеская фигура в потрепанной хламиде с капюшоном.

– Вот оно, значит, как... – задумчиво произнес юноша, обращаясь исключительно к самому себе. – Кровавая река от Павших к Герою? Никто из Семьи не мог предвидеть такого – ни отец, ни дядя... ни я.

Внезапно, словно приняв какое-то решение, юноша хлопнул в ладоши, легко подпрыгнул – и исчез. Взлетел? Скрылся меж деревьями? Или его вовсе не существовало? Примерещилось? Только кому, если рядом никого не было?

Кто знает?

10

По возвращении в Фивы Амфитрион незамедлительно пошел к Креонту договариваться о выделении земли в черте города под палестру – частную гимнастическую школу. Тут его ожидала приятная неожиданность: Креонт, хитро глядя на друга, заявил, что если Амфитрион не возражает против обучения в новой палестре детей некоторых знатных фиванцев (естественно, за немалую плату), то он, басилей Креонт, завтра же прикажет начать строительство на обширном пустыре в десяти минутах ходьбы от дома Амфитриона.

Причем две трети расходов возьмет на себя.

Амфитрион не сразу понял, при чем тут его возражения и откуда взялась такая щедрость – не только же из дружеских чувств? – но потом сообразил, что палестра с известными на всю Элладу учителями сразу добавит славы Фивам и лично Креонту, а основная тяжесть расходов все равно ляжет на казну.

Они договорились, что открытие новой палестры состоится через год – как раз к этому времени собранные Амфитрионом учителя обещали разделаться с текущими заботами и прибыть в Фивы, – и расстались весьма довольные друг другом.

Вечером Амфитрион уединился с Алкменой в мегароне, слушая ее рассказ о случившемся за время его отсутствия. Между ними стоял столик на гнутых ножках в виде львиных лап, и Амфитрион время от времени тянулся к ближайшему блюду, брал свежеспеченную лепешку, обмакивал ее в чашу с желтым тягучим медом и отправлял в рот с подчеркнутым удовольствием.

Сладкое он ел редко, но лепешки жена пекла собственноручно, а умение выбирать на базаре лучший мед было гордостью Алкмены; кроме того, она очень любила смотреть, как Амфитрион ест.

Это наполняло ее спокойствием и уверенностью.

...Амфитрион протянул свободную руку, и Алкмена, сидящая рядом на низкой скамеечке, счастливо потерлась о его ладонь щекой.

– И еще Тефия десять дней назад родила, – подумав, сказала она, имея в виду одну из своих доверенных рабынь-финикиянок. – Девочку. Здоровую и горластую. Я у Тефии спрашиваю – от кого, мол? – а она смеется и не отвечает. Только что тут отвечать, когда девочка – вылитый Филид-караульщик! Одни ресницы Тефии, длиннющие... Я еще дивлюсь, что Филид все вокруг дома нашего околачивается!

– Бедная девочка, – пробормотал Амфитрион, с трудом припомнив обросшую физиономию Филида-караульщика. – Чем она богов-то прогневала? Дать, что ли, твоей Тефии вольную? – пусть Филид ее замуж берет...

Алкмена отломила от лепешки кусочек, повертела в пальцах, но есть не стала.

– Не надо, – усмехнулась она. – Я Тефии уже говорила – хочешь вольную? Так она в крик! За что, мол, гоните, госпожа, пропаду я без вас, лучше плетей дайте, если есть вина моя... Еле успокоила. А то от плача молоко горкнет. Ну вот, кажется, и все. Ничего больше не случилось. А как у тебя дела с палестрой?

– Отлично, – Амфитрион облизал медовые усы и незаметно поморщился. – Креонт щедрился – небось видение ему было! Две трети расходов на себя берет. Стадион, бассейн, гимнасий крытый... пусть Микены завидуют!

– Пусть завидуют, – согласилась Алкмена, зная, что видением Креонта была его собственная жена Навсикая, с которой Алкмена не раз уже успела переговорить по поводу палестры. – А когда управитесь?

– Да не раньше чем через год. В лучшем случае, к следующей осени.

Они замолчали, думая каждый о своем.

Амфитрион размышлял, стоит ли рассказывать жене о тощем оборванце, которого Амфитрион видел во дворе Автолика и который всколыхнул в нем давние тревожные воспоминания; и еще – надо ли говорить о жертвоприношении в честь их малолетнего сына (о Зевс, помню, помню – твоего, воистину твоего сына!), или лучше не волновать Алкмену попусту.

Алкмена же думала, стоит ли рассказывать мужу о странных приступах у Алкида, которые в последние полгода вроде бы стали случаться пореже, а знахарка Галинтиада сказала, что с возрастом они и вовсе прекратятся; или не стоит волновать лишний раз мужа, и без того обремененного многими заботами.

«Нет, ни к чему», – решили оба и улыбнулись друг другу.

– К следующей осени, – повторил Амфитрион. – А еще через полгода, весной, отдам мальчиков в палестру. Как говорится, кости мои, а мясо учителей. Пусть учат...

Сперва Алкмена не поняла.

– Как весной? – спросила она. – Ведь в палестру с двенадцати лет отдают!

– Правильно, – кивнул Амфитрион. – С двенадцати.

– Так им же тогда только-только шесть исполнится!

– Да. Шесть с небольшим.

– Но...

Не о тяготах учебы подумала Алкмена в первую очередь, не о строгости учителей – нет, другая мысль пойманной птицей забилась в материнском сознании.

– Но ведь старшие мальчики будут их обижать!

Амфитрион встал и отошел к стене, возле которой располагалась стойка с его копьями.

– Будут, – тихо ответил он, глядя на бронзовые наконечники. – Обязательно будут. Я очень на это надеюсь.

И суровая тень упала на его лицо.

Стасим II

Утро.

Солнечный зайчик прыгает по траве, заигрывая с надменной фиалкой, но та не обращает на него внимания, и зайчик обиженно перебирается на куст можжевельника, где, грустный, сидит на веточке.

Под ним, прямо на земле, лежит человек в обнимку с лошадью.

Так кажется глупому солнечному зайчику.

Потом человек шевелится, и лошадь шевелится, и – даже если ты еще глупее солнечного зайчика – становится совершенно ясно, что человеческий торс без видимой границы вырастает из гнедого конского туловища; но лицо странного кончеловека не выражает ни малейшей озабоченности подобным положением вещей.

Зайчик испуганно шарахается в сторону, но любопытство побеждает, и он сперва с робостью касается левого заднего копыта, после перебегаёт на круп и вдоль хребта скачет вверх, от коня к человеку, пока не останавливается между лопатками, запутавшись в гриве каштановых волос, едва тронутых сединой.

Кентавр, как незадолго до того фиалка, не обращает на проделки солнечного зайчика никакого внимания. Его лицо бесстрастно, морщины не тяготят высокий лоб, и чуть раскосые глаза под густыми бровями смотрят внимательно и спокойно.

Кажется, что он прислушивается.

– Это ты, Гермий? – тихо спрашивает кентавр.

Густой и низкий, голос его подобен шуму ветра в вершинах гигантских сосен, растущих неподалеку.

Тишина.

Кентавр вслушивается в тишину.

– Ты просишь позволения войти? – немного удивленно произносит он.

Тишина.

Кентавр кивает тишине.

– Ну что ж, входи, – говорит он. – Будь моим гостем.

Из тишины и покоя, спугнув бедного солнечного зайчика, выходит стройный темноволосяный юноша. Ноздри его тонкого с горбинкой носа слегка подрагивают, словно юноша волнуется и пытается скрыть это.

– Здравствуй, Хирон, – бросает юноша, вертя в руках небольшой жезл-кадуцей, перевитый двумя змеями.

– Здравствуй, Гермий, – отвечает кентавр. – Добро пожаловать на Пелион.

И кажется, что все вокруг: сосны, кусты можжевельника, пещера неподалеку, земля, трава, фиалки – вздыхает полной грудью, приветствуя гостя.

– Давненько я не бывал у тебя, Хирон...

– Шутишь, Гермий? Ты вообще бывал у меня всего один раз – в тот день, когда Семья клялась черными водами Стикса, что Пелион – мой и что без моего разрешения ни один из вас не вступит на эту гору.

– Ни один из НАС, Хирон. Из НАС. Ты ведь тоже сын Крона-Павшего, Хозяина Времени, и время не властно над тобой. Почему ты так упрямо отделяешь себя от Семьи?

– Это не моя Семья, Гермий. В свое время я промолчал, и Павшие стали Павшими, а Семья – Семейей. Возможно, это случилось, даже если бы я и не промолчал, и сейчас я находился бы в Тартаре, а ты звал бы меня Хироном-Павшим. Да, я сын Крона, я младше Аида, но старше Колебателя Земли, и все считают, что мое место – в Семейе. И только я знаю, что мое место – здесь, на Пелионе.

– Возможно, ты был прав, удалившись на эту благословенную гору от дрызг Семьи... Интересно, сплетни тоже являются на Пелион лишь после Хиронова разрешения?

– Какие именно?

– Ну, к примеру, мне интересно, что знает мудрый Хирон о Мусорщике-Одиночке?

– То же, что и все, – что он родился. То, о чем все успели забыть, – что их двое. И то, о чем не задумывается никто, – Амфитрион самолюбив, и он не тот человек, которым можно пренебречь.

– Сейчас ты узнаешь еще кое-что, кентавр-отшельник. Этому ребенку уже приносят жертвы – в том числе и человеческие. Я видел это.

Неуловимым движением Хирон поднялся на все четыре ноги и слегка затанцевал на месте, почти не цокая копытами. Хвост кентавра хлестнул по лоснящемуся крупу, словно отгоняя назойливого слепня, сильные пальцы рук переплелись, прежде спокойное лицо потемнело, и между косматыми бровями залегла глубокая морщина.

Это длилось какое-то мгновение, после чего Хирон снова стал прежним.

Он слабо улыбнулся, как будто извиняясь, и опустил на траву.

– Ты удивил меня, Гермий. Я полагал, что разучился удивляться, и теперь могу признать свое заблуждение. Человеческие жертвы с самого детства?

– Да.

– И даже, может быть, с самого рождения?

– Об этом я не подумал, Хирон... Полагаю, что – да.

– И ты подозреваешь связь между ребенком и Тартаром?

– Подозреваю? Я уверен в этом! Любому из Семьи – кроме тебя, Хирон, но ты не причисляешь себя к Семье – когда-то приносили человеческие жертвы, и поэтому каждый из нас знает о своей связи с Тартаром и способен в случае чего воззвать к Павшим.

– Мальчик – его зовут Алкид? – не из Семьи. В лучшем случае – он полубог.

– Получеловек.

– Так говоришь ты, Гермий. Так говорят в Семье. Я же говорю по-другому. Может быть, потому, что для некоторых в Семье я сам, Хирон Пелионский, – полуконь.

– Тогда почему «в лучшем случае»? Алкид – мой брат по отцу, значит...

– Значит – или не значит. После Алкида у Младшего были дети?

– Нет.

– Почти за шесть лет – ни одного?!

– Ни одного. Но ведь папа поклялся не прикасаться больше к земным женщинам!

– Тогда это не я отшельник, а Младший. Что само по себе удивительно. Полубог, получеловек, просто человек – если в душу этого ребенка стучится Тартар... Скажи, Гермий, – мне давно не приносят жертв, тем паче человеческих, и я не припомню их вкуса – в подобных случаях ты способен закрыться и не ответить на зов Павших?

– Разумеется. Это не так уж сложно.

– Для тебя. Но не для младенца. Я хорошо знал своего отца, я знал его лучше других, как знают отцов только внебрачные дети, порождения сиюминутной страсти, – и уверен, что сам Крон, Хозяин Времени, никогда не додумался бы до такого. Это подсказали ему другие – чужаки, те, кто явился в наш мир неожиданно, кто вежливо улыбался, когда люди звали нас богами; те, кто называл себя Павшими еще до великой битвы, в которой они встали на сторону Крона-Временщика и были низвержены в Тартар вместе с ним. Да, Младший – великий боец, ибо только великий боец мог рискнуть призвать в союзники старших родичей, Сторуких, Бриарея, Гия и Котта... Только сила могла призвать силу.

Хирон помолчал.

– Ты не помнишь чужаков, Гермий, – ты родился после Титаномахии,²⁴ – а я помню. Они были прекрасны и...

– И ужасны одновременно. Я знаю, Хирон. Я видел лик Медузы на щите Афины. Это было именно так – прекрасный ужас. Наверное, мне повезло, что я родился после... Но не время предаваться воспоминаниям, Хирон! Наши ли с тобой предки, чужаки ли, пришедшие ниоткуда, те и другие сразу – если в душу этого ребенка стучится Тартар, то ничего доброго это не предвещает. А у маленького Алкида случаются приступы безумия – болтливые няньки трезвонят об этом по всем Фивам!

– Ты пробовал говорить с отцом?

– Ха! О чем? Он и раньше-то не жаловал советчиков, а в последнее время и вовсе стал нетерпим к любому мнению, кроме собственного! Папа убежден, что приступы безумия – дело рук Геры, не любящей Алкида; и Супруга не раз получала за это добрую выволочку. Естественно, она впадала в благородное негодование, корчила из себя оскорбленную невинность – и делала это столь неумело, что я в конце концов ей поверил. Похоже, Гера действительно здесь ни при чем.

– Ты парадоксален, Гермий. Все, включая Младшего, убеждены в том, что именно ревнивая Гера насылает безумие на юного Алкида, – ты же утверждаешь, что это не так. Все уверены, что никакие жертвы, в том числе и человеческие, не помешают сыну Зевса и Алкмены стать Истребителем Чудовищ (или, если хочешь, Мусорщиком-Одиночкой), – ты же опасешься Павших, стучащихся в дверь неокрепшей детской души. Послушай, Гермий, – зачем ты пришел ко мне? Чего ты хочешь?

– Выговориться. Ты – единственный, кто способен посмотреть на все это со стороны, без личного интереса.

– Уже нет. И мне хотелось бы знать, что ты предпримешь дальше. После того, как выговоришься и старый кентавр успеет тебе надоесть.

– Я познакомлюсь с близнецами поближе... Поближе с близнецами – фраза, достойная певца-аэда! Я попробую стать им другом, спутником, немного учителем, немного нянькой; я буду заглядывать им в глаза и вслушиваться в биение сердец, я вытру пену с губ безумного Алкида, я найду в тайники его души, где по углам копится пыль Тартара, ночным сновидением я приникну к щеке спящего Ификла, я взвешу братьев на своих весах...

Гермий помолчал, как незадолго до того Хирон.

– И если я увижу, что они опасны, – жестко закончил он, – я убью их обоих. Что бы ни предпринял потом отец, как бы ни гневался Владыка и ни ликовали Посейдон с Герой – я убью их. Мне кажется, я единственный, кто не побоится сделать это открыто.

Хирон долгим взглядом смотрел на юное лицо Лукавого, очень похожее в этот миг на лицо его отца, Дия-Громовержца, Зевса Олимпийского, каким он был много веков назад, перед великой битвой.

– Не спеши, – наконец выговорил кентавр. – Я не советую тебе, я просто говорю: не спеши. Если бы я даже знал, что ребенок вырастет и убьет меня, то я не стал бы из-за этого убивать его – не стал бы убивать настоящее ради будущего. И вот что... Я разрешаю тебе приходить на Пелион без моего дозволения. Приходи просто так. Но только в одном случае – если ты придешь вместе с этими детьми. Договорились?

И Гермий молча кивнул.

²⁴ *Титаномахия* – война между богами и титанами, в результате которой большинство побежденных титанов было свергнуто в Тартар.

Эпизодий третий

1

– Душно, – с некоторым раздражением бросил Автолик, утирая лицо заранее припасенным куском ткани. – Наверное, гроза будет...

– Еще бы, – в тон ему отозвался Амфитрион, завистливо глядя на голого борца. – Гелиос, видать, взбесился... Хорошо тебе, Автолик, а мою одежду хоть выжимай! Так ведь домой голым не пойдешь...

Оба мужчины сидели на краю бордюра, окружавшего площадку для прыжков, и с вождением косились на далекую гряду сизых туч; третий, гибкий как горный лев Кастор Диоскур, чуть поодаль возился с учебным копьем – то ли наконечник утяжелял, то ли просто так убивал время.

Из крытого гимнасия донесся сдавленный вопль.

– Поликтора поймали, – удовлетворенно сообщил Автолик, раздувая ноздри. – Эй, Кастор, слышишь – твоего любимчика лупят! Говорил же тебе вчера – отгони его от Алкида, не давай песком кормить... Вот и докормился, оболтус! Сейчас его Амфитриадики чем-нибудь похуже песочка угостят, пока Поликторова свита в умывальне плещется...

Тонкие черты лица Кастора исказила недобрая усмешка. Всякий, увидевший Диоскура впервые, рисковал недооценить белокурого красавчика, но после подобной усмешки любой предпочел бы не иметь Кастора в числе своих врагов. Вспыльчивый, гордый, постоянно пытавшийся ни в чем не уступить своему брату Полидевку – несмотря на то, что их мать, Леда-этолийка, назвала братьев «Диоскурами», то есть «юношами Громовержца», людская молва считала сыном Зевса одного Полидевка – Кастор отличался болезненным самолюбием и полным отсутствием чувства юмора.

«Поколение героев», – неожиданно вспомнил Амфитрион. Да, так не раз говаривал слепой Тиресий, когда на старика нападал очередной приступ болтливости. «Все мы, – говорил Тиресий, – поколение героев; воины, прорицатели, братоубийцы, мудрецы, безумцы, истребители чудовищ и людей – герои... Это не доблесть, не знак отличия, не привилегия – скорее это болезнь; или даже не так – это некий врожденный признак, как цвет волос или форма носа».

Герои.

Уроды?

Мост между людьми и богами?

Песнопевец Орфей, ни разу в жизни не обagrивший рук чужой кровью; убийцы Пелопиды Атрей и Фиест; праведник Эак, безумец Беллерофонт, лгун Тантал, Персей-Горгоноубийца; непредсказуемый Автолик, упрямый Кастор; он сам, Амфитрион Персеид, дети его, Алкид и Ификл, воюющие сейчас с дылдой Поликтором, чья мамаша на всех перекрестках трезвонит о своем происхождении от Вакха-Диониса и в подтверждение этого увязалась бегать с менадами...

Герои?

Все?

Полубоги, боги на четверть, на треть, на одну пятую... отцы, сыновья, внуки, правнуки?

Зачем мы?

Зачем мы все?!

...За последние три года, прошедшие со дня основания новой палестры, у Амфитриона часто находилось время для размышлений. Жизнь текла размеренно и спокойно, не отягощен-

ная происшествиями, боги забыли про семивратные Фивы, перестав баловать их своим опасным вниманием; Амфитрион был богат, знатен, прославлен и взыскан судьбой, счастлив женой и детьми, любим друзьями...

Все это было правдой.

Как правдой было еще и то, что он до сих пор не научился прощать обиды и гордиться милостью с чужого плеча, чье бы оно ни было, это плечо.

Просто Амфитрион научился жить под острием невидимого меча.

А еще он узнал о приступах безумия у Алкида – случавшихся регулярно, два-три раза в год.

Через шесть месяцев после начала занятий Алкида прихватило прямо в палестре; к счастью, это произошло почти на закате, когда, кроме задержавшихся у сломанной колесницы Амфитриона с сыновьями, вокруг никого не было. К счастью – потому что, попытавшись скрутить беснующегося Алкида, Амфитрион был отброшен в сторону, затылком ударился об угол колесничного основания и на миг потерял сознание.

Очнувшись, он увидел Ификла, склонившегося над обессиленным братом, – и не стал спрашивать, кто остановил Алкида, или того демона, что сидел в Алкиде.

С этого дня Амфитрион, подобно Алкмене, никогда не путал мальчишек, различая их мгновенно и безошибочно; и еще с этого дня он перестал приносить жертвы Гере.

«Поколение героев», – снова подумал Амфитрион.

Поколение проклятых?

2

– Душно, – зачем-то повторил Автолик, звонко хлопая себя по волосатой груди.

Амфитрион кивнул.

Гимнасий взорвался множеством голосов и шумом грандиозной потасовки.

– Дружки Поликтора из умывальни вернулись! – расхохотался Автолик. – Ну, сейчас начнется!.. Держитесь, Амфитриадики!

Амфитрион поднялся на ноги, подмигнул Автолику и Кастору, затем многозначительно приложил палец к губам и, шагнув в сторону, спрятался за углом гимнасия.

Вовремя – дверь зала внезапно распахнулась, наружу вылетели двое разгоряченных мальчишек и тут же принялись захлопывать злополучную дверь и подпирали ее увесистым поленом (видимо, припасенным заранее).

Захлопнули.

Подперли.

И завизжали от восторга, как визжат только в восемь лет.

– Так-так, – зловеще произнес Автолик, и тощие мальчишечьи спины мгновенно напряглись в ожидании неведомо чего. – Буйствуем, значит... Позорим имя отца и учителей своих. В глаза небось смотреть стыдно, вот и поворачиваемся задницами...

Мальчишки вздохнули и повернулись лицом к Автолику, безуспешно пытаясь пригладить волосы и придать себе достойный вид.

– М-да, – протянул Автолик, вглядываясь в совершенно одинаковые физиономии. – Ну что ж, признавайтесь для начала – кто есть кто?

– А чего они, – засопели оба брата, без особого смирения потупив нахальные глаза, – чего они маленьких-то обижают?..

– Оглохли?! – прикрикнул на них Автолик. – Я спрашиваю – кто есть кто?! Маленькие...

– Алкид я, – поджал губы левый мальчишка. – Сами ж видите! Чего спрашивать-то?!

Капля пота стекла у него по щеке к углу рта, и он живо слизнул ее языком.

– И я – Алкид, – обиженно заявил правый мальчишка. – Я Алкид, а ты дурак. И врун.

Капля пота стекла у него по щеке к углу рта, и он живо слизнул ее языком.

А потом показал язык брату.

Широкий такой язык, лопатой... небось врать таким языком – одно удовольствие.

Кастор взвесил копье на руке и с интересом глянул на Автолика, дергавшего себя за бороду. Автолик стоически перенес этот взгляд, с хрустом размял пальцы и потянулся за учительским раздвоенным посохом.

– Ну, я – Ификл, – поспешно сообщил левый. – Клянусь вашим папой Гермесом, учитель, Ификл я... и глаза у меня умные, и веду я себя хорошо...

– И только дурак тебе поверит, – завершил правый. – А учитель Автолик не дурак, он умный, он сразу видит, что это я – Ификл, потому что я хороший, и меня посохом бить не за что... а Поликтор – козел драный, я ему так и сказал!.. И еще скажу...

Дверь гимнаasia угрожающе содрогнулась под напором изнутри.

– Полено уберите, – велел Автолик, чуть отвернувшись, чтобы скрыть предательскую улыбку. – После разберемся.

Братья переглянулись – и две босые ноги мигом вышибли полено, заставив его перекувырнуться в воздухе. Кастор оценивающе сдвинул брови, косясь на Автолика, борец хмыкнул в бороду, глядя, как мальчишки отскакивают от двери, – и из гимнаasia кубарем вывалилась добрая дюжина подростков, образовав на земле кучу малу.

– Маленьких! – радостно завопили братья. – Маленьких обижают!..

И ринулись в месиво из тел, топчась по чьим-то спинам, пиная затылки и ягодичи, с упоением раздавая тумаки направо и налево. Поднялась туча пыли, Автолик от хохота свалился с бордюра и принялся кататься по песку, как возбужденный зверь, и даже на правильном лице Кастора появилось нечто напоминающее снисходительное одобрение.

– Довольно! – приказал Амфитрион, появляясь из-за угла гимнаasia, и все стихло. Властный голос бывшего лавагета словно отрезвил собравшихся – опять занялся копьем Кастор, Автолик начал отряхиваться, прекратили орать подростки, а братья Амфитриады с видимым сожалением оставили поле боя и подошли к отцу.

– Алкид? – сказал Амфитрион, глядя в упор на того сына, чья шея и плечи были исцарапаны так, будто он продирался сквозь дикий шиповник.

– Да, папа, – покорно отозвался тот.

– Ификл? – это относилось ко второму, с кровотокающими ссадинами на обеих ногах.

– Да, папа...

– Десять кругов в темпе погони! И еще пять в походном темпе... Живо!

Когда близнецы умчались прочь к беговым дорожкам, а возмущенные подростки попытались было жаловаться, но были отправлены на площадку для метания диска; когда осела пыль, отсмеялся Автолик, унес копье Кастор, а Амфитрион и вовсе покинул палестру, отправившись домой, – к палестре подъехала богато украшенная колесница, запряженная вороной парой.

Автолик, даже и не подумав накинуть на себя хоть что-нибудь из одежды, угрюмо наблюдал, как колесница останавливается в двадцати шагах от него и, набросив поводья на столб, с нее спрыгивает очень высокий юноша лет семнадцати-восемнадцати; спрыгивает и танцующей походкой направляется к Автолику.

– Радуйтесь! – еще издали начал гость. – Так это и есть знаменитая палестра Амфитриона Персеида?

– Это и есть, – без особого радушия отозвался Автолик, ставя ногу на край бордюра и сцепляя пальцы обеих рук на выпуклом колене.

Мощные плечи борца слегка подались вперед, и мирная поза Автолика стала чем-то напоминать позу атлета перед началом схватки. Ну, не любил Автолик незнакомых людей и

сходился с ними плохо, тяжело – но зато уж если кого любил хитрец и клятвопреступник Автолик, сын Гермеса-Психопомпа...

Видимо, юноша что-то почувствовал, потому что остановился, существенно не дойдя до Автолика. Постороннему наблюдателю эта пара показалась бы презабавной – голый, коренастый, могучий, словно выросший в землю мужчина в самом расцвете зрелости, и длинноногий, длиннорукий юнец в ярко-голубой хламиде поверх белоснежного хитона, застенчиво моргающий и переминающийся с ноги на ногу.

Однако, не будучи посторонним наблюдателем, Автолик мигом сумел оценить скрытую силу, таившуюся в юноше, – и плечи учителя Автолика расслабились, а на бородастом лице доброжелательно блеснули черные глаза.

– Меня зовут Ифит, – торопливо представился юноша. – Ифит из Ойхаллии. Да вы знаете небось – это на острове Эвбее...

– Неблизкий путь, – кивнул Автолик. – Учиться приехал, что ли, Ифит Ойхаллийский?

– Вряд ли, – равнодушно ответил юноша. – Скорее уж учить. А откуда вы знаете, что я Ифит Ойхаллийский? Вы что, с моим отцом знакомы?

Автолик почувствовал себя неловко – а это с ним случалось крайне редко. Ифит Ойхаллийский? С отцом знаком? Учить приехал?! Ведь сам же только что заявил: я, мол, Ифит из Ойхаллии... это что, не то же самое, что Ифит Ойхаллийский?

– С каким отцом? – вырвалось у борца.

– С моим, – повторил Ифит. – С Эвритом, басилеем Ойхаллии. Знакомы, да?

– Нет уж, не сподобился, – Автолик мало-помалу приходил в себя. В конце концов, что тут особенного – закончив занятия в фиванской палестре, лицом к лицу встретиться со старшим сыном босиея Ойхаллии (кто, кроме наследника, так спокойно назовет себя Ойхаллийским?), специально приехавшим сюда с Эвбеи и собиравшимся не учиться, а учить...

Кого?

Его, что ли, Автолика?!

Тогда – чему?!

Борьбе? Нет, только не борьбе – стоит далеко... Автолик по себе знал, что опытные борцы даже при дружеском разговоре стараются держаться поближе к собеседнику, на расстоянии вытянутой руки; это въедается в плоть и кровь, становится второй натурой, привычкой, потому что дальше – неуютно, ближе – опасно, а вот так, полшага до захвата – в самый раз.

Нет, Ифит – не борец.

И не воин-щитоносец – потому что тот же Кастор всегда держится на расстоянии копеечного удара, четырех-пяти локтей от собеседника, стараясь иметь запас пустого пространства (не такого, как любит его брат Полидевк, кулачный боец, а раза в полтора больше), и Автолик не раз замечал, что при разговоре с Кастором теснит последнего к ближайшей стене, машинально стараясь подойти поближе, что, в свою очередь, заставляло Кастора делать шаг назад.

А этот гость еще дальше стоит, чем Кастор, и чувствуется, что ему так удобно беседовать...

Кифаред? Так лучше Лина юнцу не бывать!

Колесничий? Повадка не та.

Просто юный нахал? Непохоже...

Раздумывая, Автолик нечаянно посмотрел переставшему моргать Ифиту прямо в глаза – и вдруг все понял, понял еще до того, как увидел, что за предмет приторочен к ограждению Ифитовой колесницы. Уж больно пронзительный прищур оказался у юноши, и морщинки не по возрасту лихо разбегались от уголков глаз; не взгляд – стрела, та стрела, которую видишь уже в себе, в первый и последний раз видишь...

Лучник.

И лук на колеснице – тяжелый, тугой, значительно больше обычного, такого, каких много перевидал Автолик за свою жизнь.

– Так ты сын Эврита-лучника... – пробормотал Автолик, задумчиво качая головой. – Нет, юноша, твоего отца я не видел, но слышал о нем не раз – правда, тогда он еще не был басилеем, когда мне о нем слышать доводилось. Что ж тебя отец одного отпустил-то, в Фивы?

– Почему одного? – искренне удивился Ифит, смешно морща по-юношески чистый лоб. – И вовсе не одного... просто отец со свитой поехал сразу в дом Амфитриона, а я сюда – учителей здешних повидать. Вы понимаете, здесь же в учителях и Кастор Диоскур, и Автолик Гермесид, и...

Ифит осекся, видимо, сообразив, кем может оказаться его собеседник.

– А вы... вы – Кастор? Или сам Амфитрион?

– Тогда почему не Автолик? – иронически поинтересовался Автолик.

– Ну да! – Ифит Ойхаллийский подмигнул борцу – мол, наших не проведешь!

– Еще чего! Автолик – он хитрец известный, ему пальца в рот не клади, а у вас... у вас лицо вон какое честное!

Так Автолик не смеялся даже тогда, когда братья Алкид и Ификл топтались по несчастному Поликтору и его друзьям.

3

...Нет, гости были сегодня Алкмене совершенно ни к чему.

С ночи у нее начались обычные женские очищения, но в последние годы (о ревнивая Гера!) они проходили настолько болезненно, что Алкмена старалась забиваться в отдаленнейший угол гинекея и хотя бы первые два дня, как зверь в берлоге, не попадаться никому на глаза, кроме двух доверенных рабынь-финикиянок, никогда не обижавшихся на раздражительную хозяйку.

Вот и сегодня Алкмена заснула только на рассвете, поднялась около полудня совершенно разбитая, обругала Тефию (сильно располневшую и ставшую от этого медлительной и добродушной) за какую-то пустячную провинность, через час подарила ей серебряную фибулу в виде листа орешника – дети были в палестре, муж находился там же, и жизнь шла своим чередом, то есть была отвратительной.

Алкмена знала, что скоро это пройдет, но легче от этого не становилось.

Ближе к вечеру вернулись дети – взмыленные, растрепанные, исцарапанные, – и Алкмене очень захотелось обнять их, пожалеть, хоть на миг спрятать от сурового мужского мира, где дерутся и наказывают, но Амфитрион строго-настрого запретил ей так поступать; и еще около часа Алкмена жалела саму себя за то, что так и не смогла родить себе девочку (о мелочная Гера!..), а потом Алкид и Ификл куда-то умчались, пришедший незадолго до сыновей Амфитрион сидел в мегароне и был занят или притворялся, что занят...

Вот тогда и объявились неожиданные гости.

Чуть было не приказав челяди выгнать чрезмерно шумную ватагу, заполонившую все подворье, Алкмена в последний момент пристально оглядела гостей и поняла – это кто угодно, только не бродяги. Две дюжины вооруженных людей с хриплыми голосами солдат, десяток женщин в запыленных одеждах, одна девочка примерно девяти лет, очень высокий мужчина чуть старше Амфитриона...

Они шумели, но не буянили, прихлебывали из походных киликов²⁵ с откидывающейся крышкой, но особо пьяным никто из них не был; женщины пританцовывали и вызываясь громко смеялись, но не походили при этом ни на дешевых порн, ни на бешеных вакханок,

²⁵ Килик – черпак, кубок.

девочка вела себя тихо и смотрела на Алкмену огромными синими глазами (о Гера... за что?!), а высокий мужчина стоял в самой гуще толпы, скрестив руки на груди, и словно чего-то ждал.

Один из рабов, уроженец Эвбеи, при виде этого великана вздрогнул и побежал в мегарон, откуда вскоре вышел сияющий Амфитрион, на ходу набрасывая праздничный плащ – часть тафосской добычи.

– Радуйтесь! Я счастлив приветствовать базилея Ойхаллии, прославленного Эврита, в своем доме! – широко улыбаясь, Амфитрион легко сбежал по ступенькам и направился к гостям.

– И я рад приветствовать тебя, доблестный Амфитрион, потомок великого Персея! – отозвался высокий мужчина, ленивым взмахом руки укрощая свою свиту; ни дать ни взять Колебатель Земли, Посейдон Энносигей, успокаивающий штормовое море.

«Нет, гости сегодня определенно ни к чему», – обреченно подумала Алкмена, с головой окунаясь в водоворот привычных, но оттого не более приятных домашних дел.

Когда шумные эвбейцы были размещены, а Амфитрион в это время развлекал Эврита («Базилея!» – только сейчас дошло до Алкмены, и даже поясница ее вдруг перестала напоминать о себе), сидя с ним на террасе перед мегароном, – во двор въехала колесница.

– Это мой сын Ифит, – представил нового гостя Эврит, и Амфитрион приветливо кивнул, бросив несколько похвальных слов об умении новоприбывшего управляться с лошадьми.

Ифит оказался гибким, застенчивым юношей, почти таким же высоким, как его отец, но совершенно не соответствующим развеселой компании, сопровождающей базилея; не было в нем и мрачного спокойствия Эврита, и густые брови не сходились резко к переносице, лишь намеченные мягкими штрихами, – но руки уже наливались зрелой мужской силой, а взгляд прятал в глубине своей затаенную твердость.

Юноша был открыт, и все его чувства и мысли ясно отражались на лице.

«Хороший мальчик», – мельком подумалось Алкмене.

– У тебя хороший сын, базилей, – словно подслушав ее мысли, бросил Амфитрион, глядя на зардевшегося Ифита. – Прошу всех в дом – стол для дорогих гостей уже накрыт.

Мужчины и Алкмена на правах хозяйки дома прошли в мегарон, где Алкмена присела на скамеечку у окна, отговорившись временным недомоганием и отсутствием аппетита, а остальные расположились в креслах подле уставленного яствами стола. Пусть Амфитрион и не был базилеем (а мог быть даже ванаком, если бы не изгнание из Микен), как Эврит или приютивший его в Фивах Креонт, но стол Амфитриона ни изысканностью дорогой посуды, ни разнообразием блюд ничем не уступал столу правителей.

Амфитрион мог себе это позволить. Тем более когда в доме столь именитые гости, а причина их приезда абсолютно неизвестна.

...Наконец Эврит блаженно откинулся на спинку кресла, все еще держа в руке полупустую чашу с прамнейским красным, гордостью Амфитрионовых погребов.

– Благодарю за царское угощение, – одними губами улыбнулся базилей, замороженно глядя, как блики играют в чаше, искрясь на кровавой глади.

Юный Ифит вина не пил, хотя никто ему этого не запрещал, – знал обычай.

– Рад, что смог угодить гостям, оказавшим честь моему дому, – отозвался Амфитрион, демонстративно плеснув вином в сторону порога.

Алкмена знала, что жертвы Зевсу-Гостеприимцу ее муж приносит только при посторонних – причину этой неприязни к Громовержцу она тоже прекрасно знала и старалась не заострять на этом внимания, – но ее удивило то, что Эврит Ойхаллийский вообще не предпринял ответного шага, иронично глянув на Амфитриона и столь же демонстративно осушив чашу, не пролив ни капли.

Хотя гостем-то был именно он, и ему надлежало бы...

– Пора и о деле поговорить, – как ни в чем не бывало заявил Эврит. – Думаю, что еще сегодня мы сможем засвидетельствовать свое почтение и дружбу бasilaю Креонту, но приехали-то мы к тебе, дорогой Амфитрион.

– Я слушаю, бasilaей.

– Бasilaей, бasilaей... – неожиданно тоненьким голоском пропел Эврит. – Лучше мне вина налей!

Ифит чуть заметно поморщился, явно не одобряя поведения отца, а Амфитрион поспешил выполнить просьбу гостя.

– Сын у тебя растет, – неторопливо проговорил Эврит, перестав ерничать. – Будущий герой.

– Сыновья, – мягко уточнил Амфитрион.

– Ну, я и говорю – сын, – не слушая, кивнул Эврит. – Эвбея далеко, да только наслышан я про твою палестру. И про учителей, которых ты набрал. Мудр ты, Амфитрион, метко целишь, без промаха бьешь... а вот из сына твоего стрелок никудышный выйдет.

– Это почему же? – обиделся, но не подал вида Амфитрион.

– А что, в ваших Фивах хоть один приличный лучник есть, не считая Аполлона? – хохотнул Эврит, отвечая вопросом на вопрос.

Алкмена вздрогнула. Хоть прямого оскорбления в адрес гневного Солнцебога и не прозвучало, но все-таки...

– Конечно, бasilaей, все мы наслышаны о твоём великом искусстве, да и сын твой, полагаю, мало в чем отцу уступит, – осторожно заговорил Амфитрион, переводя взгляд с длинных, как у музыканта, но куда более цепких пальцев Эврита на очень похожую руку юного Ифита, которой тот подпер щеку, откинувшись на ложе; да, сомнений не было – он видел руки выдающихся лучников и ошибиться не мог.

– Мало кто может тягаться с тобой, бasilaей Эврит, в искусстве стрельбы – но и Фивы не бедны лучниками. Нынешний учитель Алкида и Ификла Миртил...

– Не слышал о таком, – лениво качнул головой Эврит. – Нет... не слышал.

– ...в подброшенное яблоко, – упрямо закончил Амфитрион, словно не замечая издевки, – попадает с пятидесяти шагов.

Эврит пренебрежительно усмехнулся, и даже губы его застенчивого сына тронула легкая улыбка.

Спустя мгновение Эврит взял со стола яблоко и швырнул его прямо в дверь. Почти сразу же вдогонку полетело другое яблоко, пущенное Ифитом. У самой двери яблоки столкнулись и разлетелись вдребезги, забрызгав косяк.

– С пятидесяти шагов, говоришь? – протянул бasilaей, взял другое яблоко, с хрустом откусил от него и принялся с видимым удовольствием жевать.

Амфитрион давно понял, к чему клонит его гость, но боялся поверить. Заполучить такого учителя, как Эврит-лучник... Правда, Амфитриона несколько смущало поведение гостя; да и не бросит же он свою Ойхаллию, чтобы обучать близнецов искусству стрельбы из лука в течение нескольких лет!

Об этом Амфитрион напрямую и заявил Эвриту.

– Так я и не собираюсь бросать Ойхаллию ради ТВОЕГО сына («Сыновей», – снова поправил Амфитрион, стараясь не замечать явно подчеркнутого «ТВОЕГО сына»; а Эврит в свою очередь не обратил внимания на «сыновей»). Оставлю в Фивах Ифита – пускай он учит. Ну а я буду навещать время от времени...

Амфитрион вздохнул с некоторым облегчением. Ифит нравился ему гораздо больше, чем его несколько странный отец. Но, с другой стороны, что скажет учитель Миртил? – слава Эврита гремела по всей Элладе, что же касается его малоизвестного сына...

– А если твой этот – как его?! – Мунит станет упорствовать, – базилей Ойхаллии как будто читал мысли хозяина дома, – мы можем устроить состязания.

– С тобой? – вырвалось у Амфитриона.

Взгляд Эврита стал тяжелым, и его длинное тело в кресле сразу же напомнило сытую, но опасную змею.

– Мне с Мунитами делить нечего, – отрезал он.

И тихо добавил:

– Разве что с Аполлоном.

Уже провожая гостей, Алкмена решила спросить у Эврита о маленькой девочке с синими глазами, столь неуместной в шумной свите базилея.

– Это ваша дочь? Я смотрю, она – однолетка с моими...

– Это моя жена, – безразлично отозвался Эврит.

Видя брезгливое удивление Алкмены, он развел руками и поправился:

– Будущая жена. Нынешняя мне кучу мальчишек нарожала, а про эту предсказано, что родит она мне девочку. Вот сын ваш, госпожа, подрастет, большим станет – а моя будущая жена и родит к тому времени герою его будущую жену. Породнимся, а? Я и имя дочке придумал – Иола. Хорошее имя! За такое имя и умереть не жалко...

– Имя-то хорошее, да только станут ли мои мальчишки так далеко за женами ездить? Небось и в Фивах девушек немало, – попробовала отшутиться Алкмена, но вышло почему-то невесело и даже чуть-чуть страшновато.

– Станут, – заглянул ей прямо в лицо базилей Эврит, для чего ему пришлось согнуться почти вдвое. – Я лучник, мне дальние цели различать привычнее... Станут, госпожа моя, еще как станут. Эрот – он ведь тоже лучник, госпожа моя, как я да Аполлон...

И пошел прочь, купаясь в воплях и гаме свиты, подхватив на руки молчаливую синеглазую девочку.

Ночью Алкмена попыталась отговорить мужа от идеи состязания лучников, но ничего связного сказать не могла, кроме банального: «Он мне не нравится!» – и они с Амфитрионом впервые за много лет серьезно поссорились.

4

– Он мне не нравится!

– Кто?

– Не нравится он мне!..

– Да кто же?!

– Гость этот твой! Эврит!

– И чем это он тебе не понравился?

– Всем! Не базилей, а... ни то ни се! И свита его такая же! Вином не пахнет, а ходят как пьяные... в доме всех перепугали! Идешь по коридору, а тут – они! И бесшумно, словно тени из Аида!.. Добро б еще к рабыням приставали – я б и слова не сказала, мужики – они и есть мужики, и ты, муженек, в том числе! Уж кому, как не тебе, рабынь наших знать – их за пятку ущипни, они уже на сносях! А эти... ну не пристаешь, так хоть не пугай! Каков базилей – такова и челядь!

– Да, челядь у него, конечно, не того, – задумчиво согласился Креонт Фиванский. – Ну и что? Погостят – и уедут. А сам базилей Эврит...

– Погостят?! – прямо-таки взвилась Навсикая, всплеснув пухлыми ручками. – Погостят?! Чтоб ноги их завтра в нашем доме не было! Или я, или они!

– Да ты в своем уме, дура?! – возмутился начавший уже закипать Креонт. – Что же мне – выгнать их всех, что ли?!

– Конечно, выгнать! – немедленно согласилась жена Креонта.

– Чтобы я, базилей Фив, нарушил закон гостеприимства? Чтобы я выгнал досточтимого Эврита, базилея Ойхаллии, великого лучника и ученика самого Аполлона?! Только потому, что он глупой бабе чем-то не понравился?!

– Не «чем-то», – передразнила мужа Навсикая, – а вообще всем! И ведет себя как юродивый, и девчонку эту с собой возит, бесстыжий!.. И рабы от него шарахаются, и дети в доме, как он приехал, так разорались, что насилие угомонили! Плохой он человек, не любят его боги, и я его не люблю... Накличет он беду на всех нас, помяни мои слова!

Креонт только выругался в сердцах и кубком в стену запустил.

– Прогони ты его, прогони, пока не поздно, – плаксиво запричитала Навсикая, с неожиданностью истинного полководца переходя от крика к слезам.

Обычно это помогало, но на этот раз Креонт успел разъяриться не на шутку и оставил причитания жены без внимания.

– Прогнать? – загремел он. – Прогнать?! Может, мне еще и войну Ойхаллии объявить?! Да если б этот Эврит тебя, дуру, украл – и то я бы с ним ссориться не стал! Ясно?! Только кто тебя украдет?! Кому ты нужна?! Ехидна Фиванская!

– Ах, так я тебе не нужна! – слезы Навсикаи мгновенно высохли. – Тебе нужны только твои гнусные гости! Я, значит, тебе не нужна, и дети тебе не нужны, и Фивы тебе не нужны! Тебе бы только с друзьями пировать! С Эвритом этим, провалился он в Тартар! Не зря сын его на отца поглядывает да кривится! Вот каких людей привечать надо! Всем хорош Ифит: и молод, и обходителен, и...

– Ах, так вот в чем дело?! Ифит глянулся?! На молоденьких потянуло?! Вот оно что! Дождался, понимаешь...

Эта безобразная сцена, которая разразилась ни с того ни с сего, продолжалась еще долго. Супруги разругались окончательно и удалились каждый в свои покои. Потом, в течение всего пребывания Эврита в Фивах, они почти не разговаривали, и лишь когда злополучный базилей наконец уехал, они как-то легко и почти мгновенно помирились, а потом еще долго недоумевали: что это на них нашло?

Впрочем, до того произошло еще немало различных событий, которым лучше было бы не происходить.

5

Отшумела перепалка Креонта и Навсикаи, улеглись спать странные спутники странного базилея Эврита, уснула челядь Креонта, на небо возшла во всей своей красе златоликая Луна-Селена, и на черном покрывале Нюкты, окутавшем Фивы, заморгали неисчислимые сияющие глаза звездного титана Аргуса Панопта. Лишь они, эти звездные глаза, да еще бессонная Селена, серебрившая своим светом весь Пелопоннес, наблюдали за тем, как среди причудливых и таинственных ночных теней возникла еще одна – высокая, очень высокая фигура, сильно смахивающая на заблудшую душу умершего, то ли чудом сбежавшую из подземного царства Владыки Аида, то ли отбившуюся от Гермеса-Путеводителя и попросту не добравшуюся до Эреба.

Впрочем, и Селена, и Аргус мало интересовались этой тенью, одной из многих, пусть даже и выскользнувшей из дома базилея Креонта. Но и ночной прохожий, пробиравшийся по спящим улицам Фив к северной окраине города, тоже не обращал особого внимания на красоты звездного неба. Луна освещала дорогу, что его вполне устраивало, остальное же было ему глубоко безразлично.

Наконец остались позади хижины окраины и – если брать левее – мощные стены Кадмеи, зародыша города, детища Кадма-Змея; теперь длинные ноги споро мерили узкую, едва заметную в призрачном лунном свете тропинку, оставляя город за спиной, забираясь все выше в холмы, поросшие цветущим тамариском.

Тропинка лукаво виляла хвостом, как расположенная к игре собака, человек в очередной раз свернул – и увидел огонь. Небольшой такой костерок, который горел в специальном углублении на вершине одного из холмов, так что увидеть его можно было лишь приблизившись вплотную.

Время от времени красноватые отблески пламени вырывали из темноты полуобвалившийся и заросший травой вход: три выщербленные каменные ступени, похожие на челюсти немислимого чудовища, и невысокую арку из ноздреватого песчаника.

У костра кто-то сидел. Бесформенная, склонившаяся вперед груда лохмотьев, в которой было трудно признать живое существо.

– Здравствуй, Своя, – негромко и чуть хрипло произнес пришедший, останавливаясь у самого костра.

– Здравствуй, Свой, – лохмотья зашевелились, и свет костра упал на морщинистое старушечье личико, на котором хищно блеснули внимательные молодые глаза.

– Сколько же лет мы не виделись, Галинтиада, дочь Пройта?

– Двенадцать, брат мой Эврит. Тогда ты выглядел значительно моложе, – захихикала карлица.

– А ты и тогда напоминала Грайю²⁶ -Старуху, как и сейчас. Ты что, не стареешь?

– Да куда ж мне еще-то стареть? Я и так годам счет потеряла. Стареть не старею, молодежь не молодею, а помирать не собираюсь. И без того, почитай, два обычных человеческих века прожила – и еще поживу. Павшие умны, понимают: нельзя старой дуре Галинтиаде помирать, ждут ее в Аиде, ох ждут... Не успею с Харонова челна сойти – сразу вцепятся, как да что! А вот придет нужный день, вернутся Павшие в мир, посыплются с Олимпа возомнившие себя богами – там и я помолодею на радостях! Мудры Павшие, справедливы, не забывают слуг своих верных...

– Знаю, Своя, – глухо отозвался Эврит, сплетая длинные сильные пальцы и слегка передернувшись, когда Галинтиада вспомнила о «слугах верных». Видать, не любил базилей Ойхаллии слова «слуга».

– Знаю, что не забудут Павшие ни тебя, ни меня... и потому я здесь. И еще потому, что Павшим нужен Безымянный Герой, сын Алкмены и узурпатора.

– Я знала об этом задолго до его рождения, – Галинтиада презрительно плюнула в костер; Эвриту показалось, что плевок не долетел до крайней головешки, шлепнувшись на траву, – но при этом слюна с шипением испарилась, что, похоже, удовлетворило старую карлицу.

– Для того я и приехал в Фивы, – жестко бросил базилей Ойхаллии, по-прежнему стоя и возвышаясь над Галинтиадой как гора. – Я и мой сын Ифит. Мы приехали учить мальчишку – тому, чему надо, и тому, как надо.

– Твой сын – Свой? – быстро спросила старуха.

– Ну... будет, – чуть запнулся Эврит.

– Тогда он не сможет учить как надо.

– Как – буду учить я. Наездами. И то когда мальчишка подрастет. Не могу же я постоянно торчать в Фивах!

– Павшие не против?

– Они не против.

– Значит, так тому и быть. Жаль, что это будешь не ты...

²⁶ *Грайи* – старухи, сестры Горгон, имевшие на троих один глаз и один зуб.

- Ничего. Зато здесь есть ты, Галинтиада. Жертвы приносятся?
- Странный вопрос. Как и раньше, раз в полгода.
- Почему не чаще?
- Ты всегда был тороплив, Эврит...
- Это потому, что я не хочу прожить два человеческих века в ожидании!
- И все равно – ты слишком тороплив. Или тебе надо, чтобы Алкид сошел с ума до назначенного срока? Не подгоняй стрелу в полете, ученик Сребролукого Аполлона!
- По телу Эврита пробежала судорога.
- Метко бьешь, Галинтиада... Ладно, оставим. Ты знаешь, что через день состоится состязание лучников за право учить Безымянного Героя?
- Знаю. Ты действительно стал старше, Свой. Прибыл совсем недавно и уже успел...
- Да, я многое успел. И мой сын Ифит – мой сын и мой ученик, только мой, а не Аполлона! – будет спорить с Миртилом, нынешним учителем Алкида.
- И это знаю, – еле заметно усмехнулась карлица.
- Эврит слегка приподнял бровь.
- А знаешь ли ты, дочь Пройта, что проигравший будет принесен в жертву сыну Алкмены?! – торжествующе произнес, почти выкрикнул он.
- Старуха задумчиво поковыряла клюкой в углях костра, взметнув сноп искр.
- О да, теперь я знаю и это... Только знает ли об этом учитель Миртил?
- Узнает. И согласится.
- Да уж, согласится, – закивала старуха, с некоторым уважением поглядывая на Эврита.
- Более того – я знаю, кто победит! И тогда этот Миртил САМ принесет себя в жертву! Ты понимаешь, Галинтиада?! Не просто жертва, не просто ополоумевший от страха раб – а учитель, сознательно всходящий на алтарь своего ученика! Это воистину достойно Таргара!
- О да! – глаза карлицы вспыхнули в отсветах догорающего костра. – Ты и впрямь повзрослел, мудрый Эврит! Вот только...
- Она помолчала, зябко кутаясь в лохмотья.
- Скажи мне, Эврит-лучник, – наконец проговорила она странно дрожащим голосом, – зачем тебе все это? Зачем тебе нужны Павшие на Олимпе? Ведь ты не веришь в Золотой век, правда?
- Не верю, – слова давались Эвриту с некоторым трудом. – Но иначе Аполлон никогда не примет моего вызова.
- Аполлон? Тот, кто учил тебя?
- Эврит не ответил.

6

Если бы Креонту кто-нибудь сообщил, что в районе северо-восточной окраины города (кстати, довольно-таки недалеко от тропинки, ведущей к уже известному нам холму) есть некий полуразвалившийся домишко, – базилай Фив, вероятно, весьма удивился бы, что ему докучают подобной ерундой.

Если бы об этом домишке сказали любому горожанину, проживавшему близ северо-восточной окраины, – горожанин бы удивился не меньше Креонта, поскольку никакого такого домишки никогда не видел.

Если бы о том же сообщили солнечному титану Гелиосу, некогда предавшему свое титаново племя и пошедшему в услужение к Олимпийцам, то Гелиос (возможно!) придержал бы на миг своих огненных коней, но не удивился бы.

Давно разучился удивляться солнечный титан Гелиос, вечный возница.

Если бы об этом сказали близнецам Алкиду и Ифигле...

А чего им говорить? Вон они бегут, сверкая подошвами сандалий, как раз в тот самый дом, где ждет их старый приятель Пустышка.

Хорошо детям: год, два, два с половиной – и случайный знакомый превращается в приятеля, а там и в старого приятеля... хорошо детям!

Поворот за корявым абрикосом с еще зелеными, ужас какими кислыми плодами, теперь надо замедлить шаг, оглядеться по сторонам – и бегом, бегом мимо гнилого шалаша к дому Пустышки, не обращая внимания на легкий холодок, возникающий где-то в животе и почти сразу же пропадающий...

Только пегий щенок, глупое, вечно голодное существо, греющееся рядом с шалашом, видит, как двое мальчишек, перемигиваясь, пробегают совсем рядом и исчезают, как не бывало, – только щенку до этого и дела нет.

Ему бы косточку... и чтоб не исчезала никуда.

У дома, который был как бы в Фивах и в то же время как бы нет, сидел темноволосый юноша, похожий на совсем молодого Автолика; восьмилетние Алкид и Ификл звали юношу Пустышкой, но он нисколько не обижался, потому что в свое время представился близнецам именно таким образом.

Этот юноша вообще очень редко обижался.

Может быть, потому, что был старше иных стариков.

Он сидел, закрыв глаза, привалившись спиной к обшарпанной стене, разбросав стройные ноги в сандалиях-крепидах из отлично выделанной кожи, – и при виде его у близнецов глаза загорелись хищным огнем.

Бег их стал бесшумным (во всяком случае, с точки зрения братьев), пальцы рук скрючились, словно когти (очень страшные когти!), одинаковые лица исказила одинаковая гримаса (самая жуткая на свете), и, не добежав до юноши самую малость, они прыгнули на спящего, как зверь на добычу.

Добыча, не открывая глаз, вытянула руки и перехватила завопившего Алкида в воздухе, одновременно увернувшись от плюхнувшегося рядом Ификла; потом добыча аккуратно сгруппировала одного брата на другого, повалила образовавшуюся кучу по песку и встала рядом на четвереньки, злобно рыча и скалясь.

– Кербер-р-р! Я – адский пес Кер-р-бер-р! – добыча разошлась не на шутку. – Сожру с потрохами!.. рrrr...

Сомнительно, что души в Аиде ведут себя при встрече с трехглавым и драконохвостым Кербером так же, как повели себя братья, – потому что просиявший Алкид мигом запрыгнул адскому псу на спину, обеими руками вцепившись в кучерявые волосы, а Ификл с победным визгом ухватил самозваного Кербера за ногу в замечательной сандалиии и рванул на себя, заставив адского пса шлепнуться на брюхо и истошно завывать.

После того как все три головы Кербера оказались исправно оторваны, драконий хвост завязан самым сложным узлом из всех возможных, а героям-победителям были торжественно вручены награды – по лепешке на брата и по горсти изюма, – тогда настал черед пищи духовной.

– Сказку! – заканючили близнецы. – Пустышка, сказку! Ну, ты же обещал... Про Сизифа!

– Нет, про Тантала!

Мнение братьев, до сих пор единое, разделилось.

– Про Сизифа!

– Про Тантала!

– Уходи отсюда со своим Сизифом!

– А ты – со своим Танталом!

– А ты...

Пустышка двумя подзатыльниками прервал этот диспут.

– Про Сизифа не буду, – решительно заявил он. – Надоело. Лучше про Тантала.
– Как он был басилеем Сипила, – подхватил Ификл. – И боги приходили к нему пировать!
– И как он пировал с богами на Олимпе, – присоединился Алкид, стараясь перекричать брата. – А потом крал нектар с амброзией – и раздавал своим друзьям!
– И разглашал им тайны богов!
– И сказал Зевсу, что его жребий, жребий Тантала, прекраснее жребия Олимпийцев!
– И украл золотую собаку Зевса из святилища на Крите! Подговорил эфесца Пандарея, тот собаку увез, а Тантал спрятал!
– А потом поклялся страшной клятвой, что в глаза ее не видел!
– И сына своего Пелопса принес в жертву!
– А мясом его накормил богов!
– А Зевс его – в Аид! На вечные муки!
– Так ему и надо! Будет знать, как богов человечиною кормить! Вон Деметра плечо Пелопса слопала – и живот разболелся!
Пустышка весело наблюдал за разгорячившимися братьями.
– Конец сказки, – подытожил он. – Вы уже все рассказали.
Близнецы растерянно переглянулись.
– А бабка Эвритея говорит, – словно что-то вспомнив, зачастил Ификл, одновременно запихивая в рот остатки изюма, – что Тантал не басилеем города Сипила был, а богом горы Сипил! А я ей говорю, что она старая и ничего не понимает! Был бы Тантал богом – не попал бы в Аид! Врал бы себе дальше... безнаказанно. Вот!
Алкид с сомнением шмыгнул носом.
– Ну да! А если Тантал не был богом – чего ж Зевс его сразу молнией не треснул?! Еще когда он нектар крал или грубил Громовержцу... Зачем терпел-то? Я вот когда грублю – меня сразу... особенно – Автолик! Ты, Ификл, вечно удираешь, а я за двоих получаю, как Тантал!
– Не ссорьтесь, – перебил мальчишек Гермий-Пустышка. – Оба правы. Был Тантал богом горы Сипил, был... да сплыл. Стал просто басилеем. Один гонор остался божеский, за что и пострадал.
Теперь уже сомнение взяло обоих братьев.
– Так не бывает, – хором заявили они. – Бог – он и в Гиперборее бог! Навсегда. Врешь, Пустышка!
Гермий-Пустышка молчал, улыбаясь, – только улыбка его была не такая, к какой успели привыкнуть близнецы, два с половиной года назад познакомившиеся с Пустышкой в переулке возле базара.
– Врешь, – уже не так уверенно повторил Алкид.
Ификл и вовсе замолчал.
– Врешь, – не сдавался Алкид. – Вот Аполлон: и папа у него бог, и мама – бог... то есть богиня! И у Афины... ее вообще Зевс из головы родил. И Гермес...
– У Гермеса папа – бог, – поддержал брата Ификл. – Зевс у него папа! Как у Алкида...
И осекся, испуганно захлопнув рот.
– Мой папа – Амфитрион, – набычился Алкид. – А тебе я по шее дам! У меня свой папа, а у Гермеса – свой...
– А мама у Гермеса – нимфа, – немного грустно сказал Пустышка. – Нимфа Майя-Плеяда, дочь Атланта. А у Диониса папа – бог, а мама – обычная женщина Семела, глупая дочь Кадма, основателя вашего города! И не только у Диониса...
– А как же тогда отличить, где бог, а где не бог? – заморгал Алкид, забыв про болезненный вопрос отцовства. – Если так, то в чем разница?
– Это как раз просто, – подмигнул обоим Пустышка. – Смотрите: вот вы оба – басы города Сипил. А я – бог горы Сипил. И я у вас спрашиваю – чей это город?

– Наш, – не задумываясь, ответили близнецы.
– А дворец чей?
– Мой! – мгновенно выкрикнул Алкид; Ификл же только кивнул.
– А дороги в городе чьи?
– Мои, – на этот раз Ификл успел первым.
– А люди?
– Мои! – близнецы стали поглядывать друг на друга с недоверием и ревностью.
– А гора Сипил, близ которой город?
– Моя!
– Нет, моя!
– Нет, моя!
– А я тебе войну объявлю!
– А я тебе... я тебе...
– Вот и видно, что вы люди, – покачал головой Пустышка. – Только человек говорит: «Это я, а это – мое!» И готов за это убивать. А бог горы Сипил сказал бы совсем по-другому... Тишина. Напряженная, внимательная тишина.
– Бог сказал бы: «Это – я; а эта гора – тоже я! Каждый камень на ней – я, каждый куст – я, ущелье – я, пропасть – я, ручей в расщелине – я, русло ручья – я!» Вот что сказал бы бог...
– А Зевс его молнией! – крикнул Ификл. – Да, Пустышка?
– Кого, малыш? Если есть «я» и есть «мое» – тогда можно молнией... Огонь, грохот – и «я» исчезло, а «мое» стало «ничье» и вскоре будет «чьим-то»! Но если все – «я», тогда кого бить молнией? Камни, ручей, птиц, кусты, ущелье – кого? Гору – молнией?
– Гору! – закричали оба.
– Всю гору?
– Всю! Стереть с лица земли! Трах – и нету!..
– Стереть с лица земли? Но богиня Гея говорит про землю: «Земля – это я!» А горный ручей впадает в реку Кефис, и бог реки говорит: «Река – это я!» Вода в реке, тростник по берегам, мели, перекаты, галька – я!
– И его молнией, – неуверенно пробормотали близнецы. – И Гею – молнией... всех – молнией...
Гермий молчал.
«Весь мир – молнией? – молчал Гермий. – Из-за одной горы? Молний хватит-то?..»
– Так вот почему Зевс не трогал Тантала, пока тот был богом! – вырвалось у Ификла. – Я – это гора, камни, кусты... нельзя из-за одного меня весь мир – молнией!
– А потом он украл золотую собаку, – Алкид положил руку на испарпанную коленку брата. – И сказал про собаку: «моя»... И про жребий сказал: «мой». Мой жребий прекраснее жребия Олимпийцев! Так и стал из бога – просто базилей... Сына своего не пожалел – сын не «я», сын «мой», чего его жалеть?! В жертву его!..
Ификл с непонятным трепетом огляделся вокруг.
– Этот дом – мой? – он словно пробовал слова на вкус. – Этот дом – я? Дерево – я? Лепешка – я?
Нет. Глупо это прозвучало, глупо, по-чужому, не так...
Взгляд мальчика упал на брата, и что-то заглохло в глубине этого взгляда.
– Ты – это я, – Ификл радостно хлопнул Алкида по плечу. – Ты посмотри на себя, Алкид! Ты только посмотри на себя! Ты – это я! Понял?
– Я смотрю, – Алкид не отрывал глаз от лица Ификла, – я смотрю... на себя. Ты – это я! Правильно?
– Правильно!

– Правильно, – согласился Пустышка. – Вы даже не представляете, парни, до чего это правильно. Ну а теперь – пошли драться!

– Не по правилам? – восторгу близнецов не было предела.

– Разумеется, – подтвердил Пустышка. – А как же иначе? Здесь вам не палестра, герои... И они пошли драться не по правилам.

7

– ...Этот Эврит – действительно хороший лучник, – задумчиво пробормотал Автолик, привычно запуская пятерню в свою густую бороду. – И учитель хороший... а так, похоже, сволочь.

– При чем тут Эврит? – недоуменно пожал плечами Кастор, сидя рядом с Автоликом на западной трибуне и наблюдая за долговязым Ифитом и коренастым фиванцем Миртилом – те только что наложили по стреле на тетиву и теперь натягивали свои луки.

Отсюда все поле стадиона прекрасно просматривалось, и Кастор про себя отметил, что мишень стоит чуть косо; потом он снова перевел взгляд на лучников и подумал, что Ифитов лук под стать владельцу – раза в полтора длиннее лука Миртила.

И натягивал его Ифит не до груди, как привыкли фиванские стрелки, а по-варварски, до самого уха.

А еще Кастор, как истинный лаконец, подумал, что лук – оружие труса. Ну пусть не труса, но уж во всяком случае не настоящего мужчины.

– При том, что Ифита не Аполлон стрелять учил, а Эврит, – как ребенку, пояснил Автолик Кастору свою мысль. – Отец, как-никак...

На поле Автолик смотрел невнимательно и думал, что зря он сел рядом с Диоскуром.

– А-а-а, – понимающе кивнул Кастор.

Автолик покосился на безмятежное лицо Диоскура и больше до конца состязаний с ним не заговаривал.

Лук юного Ифита с негромким гудением распрямился – и стрела, свистнув в воздухе, с тупым стуком вонзилась в центр мишени. Хмурый и сосредоточенный Миртил еще некоторое время целился, после чего тоже спустил тетиву.

Центр мишени расцвел второй стрелой – и толпа зрителей на трибунах разразилась приветственными криками.

Болели за своего, за фиванца.

Миртил с усилием улыбнулся и вытер выступивший на лбу пот. Почему-то в тот момент, когда стрела сорвалась с тетивы, пожилому учителю припомнилось выражение лица приезжего ойхаллийца Эврита, когда они перед самым состязанием чуть не столкнулись у входа. Между ними еще тогда ужом проскочила эта старая сумасшедшая, карлица Галинтиада, – и Миртилу показалось, что базилей Эврит сухо кивнул нищей старухе, прежде чем проследовать на отведенное ему почетное место.

Ему, Миртилу, базилей кивнуть забыл – словно впервые видел...

Учитель Миртил с затаенной тоской оглядел беснующиеся трибуны и подумал о том, что бы завопили зрители, если бы узнали об условии, которое было поставлено Эвритом и принято им, Миртилом.

Ночью пришел в дом Миртила Эврит-ойхаллиец, и условие было ночное, темное, из тех, которые и принять нельзя, и не принять нельзя...

Ну что ж, учитель всегда приносит себя в жертву ученику – правда, не так, как потребовал этого базилей Эврит, человек с пальцами лучника и глазами змеи.

Мальчишку, в жертву которому должен был тайно принести себя проигравший сегодняшние состязания, Миртилу видно не было. Небось вертится в толпе вместе с братом... Герой. Будущий герой. Величайший герой Эллады с цыпками на босых ногах.

Учитель Миртил еще раз отер бугристый, с залысинами лоб и заставил себя сосредоточиться на мишени.

– ...Эй, Пустышка, давай к нам! Отсюда лучше видно! Да здесь мы, здесь, у тебя под носом! Не туда смотришь! – оба брата от души веселились, приплясывая на высоченном каменном парапете, куда непонятно как забрались.

Пустышка – типичный разгильдяй-зевака с черствым коржиком в одной руке и флягой вина в другой – завертел головой, потом увидел мальчишек (или сделал вид, что только что увидел) и вскоре протолкался к братьям, легко вскочив на парапет.

Пожалуй, даже слишком легко... но кому было до этого дело?

Никому – поскольку на поле уже устанавливались новые мишени, существенно меньшие, чем предыдущие; и располагались они от черты, где стояли стрелки, не в пятидесяти шагах, а в полтора раза дальше.

Пустышка обнял просиявших близнецов за плечи, кивком указал им на стрелков и торжественно прицокнул языком – что не преминули собезьянничать Алкид с Ификлом.

И снова рослый юноша-ойхаллиец выстрелил навскидку, почти не целясь, безошибочно поразив мишень, и снова долго и тщательно целился Миртил, целился, спускал тетиву, и орали счастливые зрители – свой, земляк, фиванец, пока что ни в чем не уступал заезжей знаменитости. А что целился дольше – так это правилами не оговорено!.. Хоть неделю целясь.

– Эй, Пустышка, ты за кого болеешь? – дернул приятеля за край хламиды взмокший от переживаний Ификл. – Я – за Миртила! – гордо добавил он, так и не дождавшись ответа, после чего без спросу отломил у Пустышки кусок коржика и принялся его жевать.

– А я – за Ифита! – тут же вмешался Алкид, взволнованно подпрыгивающий на месте и ежесекундно рискующий свалиться с парапета. – Миртил вон сколько целится, а этот долго-вязый раз – и точно в цель!

– Все равно Миртил лучше! – не выдержал Ификл. – Потому что наш! Пустышка, ну Пустышка, скажи ему – кто лучше?! Кто победит?!

– Пусть победит сильнейший, – нашелся Пустышка.

– Ясное дело, сильнейший, – надулись оба мальчишки. – Но ты-то за кого?!

– Я – за Аполлона! – улыбнулся Пустышка, но глаза его оставались серьезными и смотрели куда-то в сторону кромки поля. – Вы, ребята, болейте на здоровье себе, а я пойду поздороваюсь – родственничка заприметил...

Вот он был – и вот его не стало. Близнецы все никак не могли привыкнуть к этой странной особенности Пустышки – умению исчезать мгновенно и совершенно бесследно.

То-то удивились бы братья (да и не они одни), узнав, что их замечательный друг находится совсем рядом, рукой подать, просто увидеть его можно, только если уметь видеть настоящее, – а это умеет далеко не каждый.

Например, из собравшихся зрителей это умел только один слепой Тиресий.

...Гермий невольно улыбнулся, потрепал Алкида по вихрастому затылку (тот не глядя отмахнулся – муха, что ли, докучает?) – и, незримый для людей, двинулся к кромке поля.

Туда, где ждал его один из Семьи, от чьих глаз укроешься разве что в шлеме дядюшки Аида, изделия подземных ковачей Киклопов.

Бог стоял против бога; «Я» против «Я».

«Я» путников, воров и торговцев, ораторов и душ, бредущих к Ахерону, послгов, пастухов и юных атлетов, Килленец, Лукавый, Пустышка, Психопомп-Душеводитель, Пастырь Стад –

легконогий Гермий, сын Майи-Плеяды, горной нимфы, дочери Атланта-Небодержателя; и «Я» поэтов и лучников, строителей и музыкантов, Стреловержец, Мститель, Водитель Муз, Оракул, Несущий чуму, Очищающий от скверны – солнечный Аполлон Пифий, сын гонимой Латоны, дочери титана Кея и Фебы.

Братья по отцу.

Впрочем, приплясывающий на парاپете Алкид (или это Ификл?.. нет, пожалуй, все-таки Алкид) тоже числился в братьях у этих двоих – но боги и люди одинаково глухи к смеху Ананки-Неотвратимости.

– Какими судьбами, братец? – еще издали поинтересовался Гермий, придавая своему лицу самое беззаботное выражение.

«Потрясающий красавец, – про себя оценил он горделиво подбоченившегося Аполлона. – Причем знающий это о себе – и поэтому уже не столь потрясающий. Интересно, он искренне простил мне то украденное стадо или просто решил не связываться?..»

– Пролетом, – чуть рисуясь, сверкнул ослепительной улыбкой Аполлон. – На состязание взглянуть и вообще... Сам знаешь, папа всей Семье запретил являться в Фивах по-божески, при полном параде – ну, я и заглянул так, потихоньку... вроде тебя, бродяги.

– Угу, – кивнул Гермий. – Это правильно. Это сближает...

Кого это сближает и каким образом – этого Гермий не сказал, а Аполлон не спросил, и некоторое время они молча наблюдали за соперниками, старавшимися поразить подброшенное яблоко. Ифит снова попал чисто, навскидку, расколол яблоко на две почти равные половинки; Миртил чуть не опоздал, спустив тетиву в последний момент, и от его яблока отлетел довольно-таки небольшой кусок – что, впрочем, тоже засчитывалось.

Когда Миртил опускал лук после выстрела, руки его слегка дрожали.

– Волнуется фиванец, – заметил Аполлон.

– Есть из-за чего, – согласился Гермий. – Ученик твоего ученика...

– Не мой ученик! – резко закончил Аполлон, мрачней. – Мой ученичок во-он где... вырос, заматерел! Встретит – не поздоровается, жертву не принесет... да и так нечасто приносит.

И небрежно кивнул в сторону мест для почетных гостей, где переговаривались о чем-то базили Креонт и Эврит, рядом с которыми сидел довольный Амфитрион и еще кто-то из городской аристократии.

– Мой не мой, – не преминул уколоть Гермий. – Что ж ты, братец, прямо как смертный? А где же «Я»?

– Я не смертный, – отрезал Аполлон. – А Эврит – не я.

Гермий подметил странную тень, затмившую в этот миг солнечный лик Аполлона, – то ли легкую неприязнь, то ли интерес гиганта к мокрице, испачкавшей слизью его подошву.

– На днях поминал меня пару раз, – Аполлон явно имел в виду того же Эврита. – Думал, наверное, что я не услышу.

– Это он зря, – усмехнулся Лукавый.

– Зря, – согласился Солнцебог, хлопывая ладонью по висевшему сбоку колчану, от которого исходило приглушенное сияние. – Не люблю, когда меня все поминают. Надо бы проучить базилейчика – как-никак ученичок... бывший. Жаль только, Семья не поймет – папа велел, чтобы в Фивах без знамений и грозы над охульниками!

– Так мы и не будем! – с готовностью подхватил Гермий. – Зачем нам гроза? Гроза нам ни к чему, гром, ливень, молнии там всякие... да только насчет мелкой, но существенной помощи одному из соперников и насчет мелкой, но досадной помехи другому – об этом папа ничего не говорил! Папа велик, ему не до мелочей!..

– Вот и я о том же, – удивительно, до чего же неприятная ухмылка могла возникнуть на столь красивом лице, как у Аполлона. – А то слишком уж много возомнил о себе базилейчик...

Фиванцу мы победу, пожалуй, отдавать не станем, не заслужил, но и ничья будет Эвриту как кость в горле. Сделаем, Лукавый?

– Сделаем, Стрелок. Только так: Ифит – мой, Миртил – твой. Пакости больше по моему ведомству... «Феб Мусaget, Аполлон сребролукий, строящий подлые козни Эвритову чаду Ифиту» – нет, не звучит! А вот: «И к Аполлону воззвал славный лучник фиванский; и Фебом услышан он был» – это же совсем другое дело!

– Болтун ты, Пустышка, – махнул рукой Аполлон. – И в кого ты такой?

– В себя, – небрежно отозвался Гермий, следя, как два голубя, громко хлопая крыльями, взмыли в безоблачное небо, – и за птицами почти одновременно метнулись две стрелы. Один голубь камнем рухнул вниз – более длинная стрела аккуратно отрезала ему голову; но и другой, судорожно трепыхаясь, упал в гущу восторженных зрителей.

Чьи-то руки швырнули птицу обратно на поле; крылья голубя еще раз проскребли по земле, и птица затихла – стрела Миртила прошла ее насквозь, но голубь попался живучий не по-голубиному.

Судьи на поле переглянулись, и один из них стал подвешивать к деревянной стойке два позолоченных кубка на длинных и прочных нитях. На этом задании обычно пасовали самые искусные лучники – кубок раскачивали, и стрелок должен был перебить нить не далее чем на локоть от кубка.

Подали стрелы с раздвоенными наконечниками.

Двое рабов одновременно качнули кубки и отскочили в разные стороны.

То ли солнечный зайчик ударил в глаза Ифиту, то ли нога не вовремя поехала по траве, только что бывшей сухой и вдруг ставшей мокрой и скользкой (с чего бы это?!); а может, просто сказалось все возрастающее напряжение сегодняшнего дня – короче, дрогнула не знавшая промаха рука, чуть качнулся лук, зазвенела возмущенно тетива... и стрела все же срезала нить – но слишком далеко от кубка, упавшего на траву.

Локоть? Больше?..

И в то же мгновение рванулась вперед стрела Миртила-фиванца – а в глазах пожилого лучника еще горели, не гасли огоньки удивления, словно не он только что натягивал лук, целился, спускал коротко вскрикнувшую тетиву...

Миртил поежился, наскоро помянул Аполлона-Стреловержца и глянул через плечо назад – увидеть кого-то ожидал, что ли?

Бушевали трибуны, глядя на упавшие в пыльную траву кубки, на рабов, поднимающих эти кубки и стремглав бегущих с ними к Креонту, на базилея Фив, придирчиво мерявшего обрывки нитей, равные по длине...

Рядом с Креонтом молчал и хмурился Эврит Ойхаллийский. Знал, чувствовал – его только что поставили на место.

Молчала у самого выхода старая карлица Галинтиада, дочь Пройта.

Звонящая тишина сменила рев толпы.

Ожидание.

– Ничья! – торжественно возгласил Креонт.

И вновь – рев многоголосого зверя по имени Толпа, чудовища, неподвластного ни богу, ни герою.

Ну разве что на время.

...Молчал Эврит.

...Молчала Галинтиада.

...Молчал юный Ифит, с робостью поглядывая на сурового отца.

И молчал Миртил-фиванец, учитель братьев Амфитриадов.

Знал лучник: сегодня он проиграл.

8

Эту ночь, ночь после дня состязаний, Гермий провел в раздумьях, далеко не всегда приятных (или, скорее, почти всегда неприятных); ну, и утро началось соответственно.

Почему-то он раз за разом возвращался мыслями к своей первой встрече с близнецами, случившейся два с лишним года тому назад.

Для Гермия было пустячным делом оказаться на пути у мальчишек, когда те бежали на базар, ужасно гордясь поручением матери купить всякой зелени и совершенно не замечая крепкого раба-фессалийца, который на всякий случай следовал за ними в отдалении. Зато Гермий сразу заметил всех: и мальчишек, и прохожего-старика, и раба-сопровождающего, причем последний его совершенно не устраивал – в результате чего раб сделался скорбен животом и, проклиная вчерашнюю рыбу «с душком», шмыгнул между домами и был таков.

А Алкид с Ификлом сперва замедлили шаг, а там и вовсе остановились, замороженно глядя на молодого бродягу, в чьих руках маленькими предзакатными солнцами порхали три... нет, четыре... нет, даже пять! – лоснящихся плодов граната.

– Ух ты! – округлились два одинаково очерченных рта.

Наконец бродяга перестал жонглировать, хитро подмигнул братьям и швырнул каждому по гранату. Поймав их, близнецы так и застыли с открытыми ртами, словно собираясь засунуть туда подарки целиком, с кожурой и косточками, – руки бродяги оказались пусты, а остальные плоды (один? два? три?) исчезли неведомо куда.

Дальнейшее было несложно – любопытство, интерес, приязнь, дружба, звенья той лживой цепочки, за которую одно живое существо подтягивает к себе другое, будь ты смертный, бог, титан или чудовище. Когда дети с головой уходили в очередную игру, предложенную неустоимым Пустышкой, Гермий исподтишка разглядывал их лица (по сути одно лицо) и жадно искал черты сходства с собой, с Аполлоном, с Дионисом, с другими сыновьями Зевса Кронида; он вглядывался в это общее лицо, способное смеяться и плакать одновременно, меняющееся с каждым прожитым днем, в отличие от лиц Семьи, неизменных и привычных... он искал, находил и тут же понимал, что ошибся.

И когда эти дети, похожие на Амфитриона, похожие на Персея, и только потом похожие на Олимпийца, впервые спросили о разнице между богом и смертным – Гермия стоило большого труда не показать близнецам, насколько он взволнован этим вопросом.

Если бы в Семье узнали, что он, Гермий-Лукавый, попытался объяснить смертным разницу между «Я» и «мое», разницу между вечным и конечным... Участь Прометея показалась бы тогда Гермия завидной! Семье нужны Мусорщики-Полулюди, способные убивать навсегда, – но как только Мусорщик начинает задумываться о сходстве Медузы и Афины, Химеры и Пана, чудовища и божества; как только он касается грани между смертным и бессмертным... О, таких мыслей, таких сравнений Семья не прощает!

И сходит с ума победитель Химеры Беллерофонт, безумным слепцом скитаясь по земле; Персей-Горгоноубийца, лучший из лучших, бронзовым диском убивает собственного деда – и до конца дней своих сиднем сидит в Тиринфе, замаливая невольную вину; в огромного змея превращается Кадм-Фивостроитель, сразивший дракона и ставший им, на себе испытывший участь сперва героя, затем – чудовища; братья Алоады громоздят Оссу на Пелион, гору на гору, держат Арея в заточении более тридцати месяцев, но лань Артемиды пробегает между ними, и убивают друг друга огромно-могучие братья Алоады...

Жив еще неистовый Идас из Мессении, год назад дерзнувший поднять руку на Аполлона из-за невесты своей, речной нимфы Марпессы; жив, хотя и изгнан еще один соперник Аполлона, юный Кореб из Аргоса; страшная кара не настигла еще Иксиона, мятежного лапифа, дерзнувшего полюбить Геру, супругу Зевса, как равный равную; многие живы, многие, осме-

лившиеся шагнуть навстречу, дерзнувшие полюбить, восстать, просто огрызнуться, а не только убивать по приказу.

Живы пока что – но Мойра Атропос уже взяла бронзовые ножницы.

Нельзя смертным задумываться над тем, почему боги сами не убивают чудовищ.

Нельзя смертным удивляться: почему для того, чтобы бессмертное смертным сделать, а там и мертвым, нужен Мусорщик, смертный герой, знакомый со смертью не понаслышке?

Нельзя героям задумываться – опасно это.

Для них опасно, да и не для них одних.

...Гермий вздохнул, почесал щиколотку, укушенную каким-то непочтительным насекомым, и махнул рукой – а, все равно всех мыслей не передумать! Тем более что в Семье это дело и вовсе не принято. Иначе папа давно бы извлек Алкида из Фив, упрятал бы куда-нибудь к себе под крылышко и воспитывал бы своего Мусорщика-Одиночку без помех! Странно – вроде и сын ему Алкид, и герой будущий, и надежда Олимпа, а все равно как неродной! Не любит его Зевс, что ли? Он, Гермий, – и то к мальчикам привязался...

Вот тут-то Гермия и ожгло, как плетью. Привязался? Он? К смертным?! Узнать толком ничего не узнал, приступов Алкидовых ни разу пока что не видел – хотя за этим в Фивы и явился, торчит тут, как комар на плечи, пацанов Дромосом²⁷ пользоваться научил – Персей год учился, и то сопровождать потом пришлось, чтоб не заблудился, а эти близняшки с третьего раза носятся туда-сюда как угорелые без провожатых! И впрямь Мусорщик-Одиночка! Интересно, двое одиночек, да еще и близнецов, – это как считать придется?!

К пифии сходить, что ли, спросить?

Тут Гермия пришли на ум туманные намеки кентавра Хирона насчет сомнительности отцовства Громовержца – и он вовсе загрустил. Вот уж угораздило родиться в Семье с умом и талантом! Шутки шутками, а мало кто из Семьи обременяет себя излишним мудрствованием. Все больше за оружие хватаются – кто за молнию, кто за трезубец, кто за лук или еще за что...

Хватались бы сперва за голову – глядишь, забот бы раза в два поменьше было.

Только такой совет никому из Семьи давать нельзя – что, скажут, Пустышка, совсем уже...

– ...Пустышка! Ну Пустышка же! Ты тут сидишь и ничегошеньки не знаешь! А в городе такое! Такое! И занятия в палестре отменили! И...

На этот раз тот, кого называли Пустышкой и кто сам любил неожиданно появляться и бесследно исчезать, был вынужден признать, что честно проморгал момент появления шумных близнецов. Мальчишки выросли перед ним словно из-под земли, совершенно незаметно промчавшись по Дромосу, и тут же наперебой затараторили об одном и том же – каждый хотел обязательно первым сообщить потрясающие новости, и Пустышка, рассеянно улыбаясь, слушал обоих вполуха, не особенно вникая в смысл слов, сыплющихся как горох.

«Не зря я все-таки их учу, – думал Гермий, глядя на взлохмаченных и исцарапанных мальчишек с облупившимися от солнца носами. – И с Дромосом освоились (с закрытыми глазами пройдут!), и подобрались так, что даже я не заметил...»

Юноша встряхнул головой, как бы освобождаясь на время от владевших им мыслей, и попытался вслушаться в галдеж близнецов.

– Басилей Эврит уехал! Ночью! Никого не предупредив! – подпрыгивая от нетерпения и распивавших его новостей, вопил Алкид (или Ификл? Нет, похоже, что все-таки Алкид, хотя...).

– А сын его остался! – вторил брату, отчаянно размахивая руками и зачем-то поминутно приседая на корточки, другой мальчишка (скорее всего Ификл, впрочем...).

²⁷ Дромос – Коридор (греч.).

– А еще учитель Миртил куда-то пропал! И никто не знает куда! Даже Тиресий – и тот молчит!

– И все его ищут – и папа, и Кастор с Автоликом, и все-все...

– Поэтому и занятия в палестре отменили!

– Вот здорово!

– А мы сразу к тебе побежали...

– К тебе!

– Только лучше пусть Миртила все-таки найдут, – на два тона ниже сказал вдруг один из мальчуганов, шмыгнув носом. – Пускай уж занятия, лишь бы нашли...

И Пустышка сразу понял, что это Ификл.

– Конечно, пускай найдут, – тут же понизил голос и Алкид. – Слушай, Пустышка, ты здесь все знаешь, везде ходишь – найди Миртила, а? Представляешь – все его ищут, с ног сбились, плачут, жертвы Зевсу или там Гермесу приносят, а тут мы с тобой его приводим, и все нас хвалят, подарки дарят, а Автолик клянется, что больше никогда не станет нас посохом лупить...

И оба мальчишки с надеждой уставились на своего друга.

– Попробую, – медленно кивнул Гермий, чувствуя, что все это неспроста: его утренние раздумья о забытом или запретном, внезапный отъезд бацилея Ойхаллии, скорее похожий на бегство, оставшийся в Фивах Ифит, поиски исчезнувшего Миртила, вчерашние состязания... Не нравилось это Гермию, совсем не нравилось, что-то крылось за внешне безобидными событиями – и неизвестность еще больше раздражала Лукавого.

– Попробую, – повторил юноша, в какое-то неуловимое мгновение расслабившись – весь и сразу, как дикое животное – и прикрыв глаза.

Лицо Пустышки приняло умиротворенно-отсутствующее выражение.

– А куда мы пойдем его искать? – поинтересовался ничего не понимающий Алкид.

– И когда? Прямо сейчас? – поспешно добавил Ификл, понявший ничуть не больше брата.

– Никуда мы не пойдем, – чуть слышно и невыразительно проговорил Гермий, а братья переглянулись: им показалось, что губы Пустышки при этом не шевелились.

– Сядьте рядом и ждите. Молча.

– Пустышка, ты этот... прохвост? – изумленно вытаращился Алкид и мгновенно поправился. – То есть я хотел сказать – провидец! Как Тиресий, да?

Ификл больно ткнул брата острым локтем в бок и, когда Алкид обернулся, приложил палец к губам: дескать, просили же помолчать!

Спохватившийся Алкид закивал, и оба поспешили усесться на траву и уставились на Пустышку, время от времени многозначительно переглядываясь.

9

Гермий не был ни всевидящим, ни всемогущим. Не был он и провидцем, подобно слепому Тиресию или Прометею Япетиду.

Но он был богом; и в Семье считался не из последних.

Путники частенько зывали к Лукавому, и не зря почти на всех дорогах Эллады время от времени попадались гермы – деревянные или каменные столбы с изображением Бога-Покровителя наверху. Зачастую изображение имело мало общего с оригиналом, но при установке герм ритуал их посвящения Гермесу-Киллению соблюдался неукоснительно, да и путники не ленились оставлять дары божеству в расчете на его благосклонность; так что Лукавый не раз пользовался путевыми столбами. Для него это были не просто каменные изваяния – сейчас сидевший на земле юноша находился в каждом из этих столбов, он был ими, как они были

частями его; и Гермий мог видеть все, что происходит на дорогах, иногда ясно, иногда смутно, но видеть, видеть слепыми надтреснутыми глазами изображений наверху столбов-герм.

...вот тащится по Беотии торговый караван из Панакта в Иолк; мелькают лица, конские морды, тюки с товарами... нет, здесь нет того, кого ищет Гермий! Дорога в Микены. Ага, вот несколько оборванцев с дубинами обирают двоих перепуганных путников... в иное время Гермий не преминул бы пугнуть разбойничков, но сейчас не до них – простите, путники, молитесь кому-нибудь другому!.. Дальше, дальше... долина Кефиса, предгорья Киферона, взгляд скользит от гермы к герме, от столба к столбу – ох, что-то редко они здесь стоят, маловато тут МЕНЯ, не охватить всю дорогу...

И вспышкой узнавания – за последней на этой дороге гермой, после которой сама дорога постепенно сходит на нет, превращаясь в извилистую и каменистую горную тропу, мелькает наконец знакомый коренастый силуэт с луком за плечом.

Миртил шел в горы, оставив у обочины брошенную колесницу.

Зачем? На охоту, что ли? Не предупредив друзей, бросив учеников, покинув семью?!

Вопрос остался без ответа. Миртил свернул за поворот и скрылся из виду.

...Пустышка глубоко вздохнул и открыл глаза.

– Ваш учитель Миртил сейчас в предгорьях Киферона, – глухо бросил Гермий. – И он уходит все дальше от Фив.

– С ним все в порядке? – нахмурился Ификл.

– Да. Жив и здоров. Пока...

Это странное «пока» вырвалось у Гермия неожиданно для него самого, но близнецы не обратили внимания на непрошеное слово.

– Точно! – выдохнул Алкид. – Провидец! Слышишь, Ификл: наш Пустышка – провидец! Что ж ты раньше-то молчал? А еще друг называется! Мы тебе все рассказываем, а ты скрытничаеть!..

– Киферон во-он где, – тихо сказал Ификл. – Что Миртилу там делать?

– Не знаю, – честно признался Гермий.

– Не знаешь?! – искренне удивился Алкид. – Нет, Пустышка, ты все-таки прохвост! Как это не знаешь?! Должен знать!

– Во-первых, я никому ничего не должен. А во-вторых, я действительно не знаю. Вы что думаете, провидцы всеведущи? Нет...

И тут Пустышка умолк на полуслове, даже не заметив, что Алкид тоже молчит, каменея лицом и словно прислушиваясь к чему-то.

В сознании Гермия, мешая сосредоточиться, эхом звучал испуганный вскрик: «Во имя Гермеса-Проводника! Что ты хочешь делать с этим ножом, добрый человек?! Остановись!..» Гермий закрыл лицо ладонями и, отрешившись от братьев, попытался сосредоточиться на голосе, призывавшем его где-то там, в лесистых предгорьях Киферона.

– ...Что ты хочешь делать с этим ножом, добрый человек?! Остановись!

Пожилой пастух с козьей шкурой на плечах испуганно попятился от сурового мужчины в дорогом вышитом хитоне и плаще, заколотом железной²⁸ фибулой.

У ног мужчины лежал сломанный лук, одним концом касаясь сваленных в пирамиду камней; колчана со стрелами, положенного любому лучнику или охотнику, у человека попросту не было.

В руке же незнакомец сжимал широкий, слегка изогнутый нож.

²⁸ Железо ценилось тогда дороже золота.

– Не бойся, – спокойно-мертвым голосом ответил мужчина. – Этот нож не для тебя. И укрепил оружие между камнями острием вверх.

– Видишь эти камни?

– Вижу, – пастух хотел удрать, но что-то удерживало его на месте.

Страх? Любопытство? Жажда наживы?

Глупость?!

– Это жертвенник будущего героя, сына Зевса и Алкмены. На нем я принесу себя в жертву моему ученику... моему бывшему ученику. А тебе я оставлю свою одежду и колесницу с лошадьми – она там, внизу у дороги, – если ты окажешь мне одну услугу.

– А может, лучше...

– Молчи и слушай! Я не хочу, чтоб моя неприкаянная тень скиталась по земле, не зная покоя и наводя на людей ужас. Поэтому прошу тебя: когда все будет кончено, сожги мое тело, чтобы душа моя мирно упокоилась в Аиде. Согласен?

– Но... зачем тебе умирать? Купи у меня козленка – и мы принесем его в жертву, кому ты скажешь!

– Нет. Я поклялся. И проиграл состязание. Боги помогали мне, но проиграл я, а не боги. Проиграл я, Миртил-лучник, и я исполню клятву. Так ты поможешь мне – или моя тень будет преследовать тебя до конца твоих дней?!

– Конечно, конечно, – поспешно закивал пастух, глядя, как Миртил поворачивается к нему спиной и подходит к жертвеннику, между камнями которого пробился к солнцу зловещий росток, отсвечивающий бронзой, – широкий и слегка изогнутый на конце.

– ПУСТЫШКА! ПРОСНИСЬ! У НЕГО... У АЛКИДА ОПЯТЬ ЭТО! СДЕЛАЙ ЧТО-НИБУДЬ! Я НЕ ХОЧУ...

Гермий отнял ладони от лица, и первое, что бросилось ему в глаза, – бесчувственный, странно скрючившийся Алкид и едва не плачущий Ификл, стоящий над слегка подрагивающим телом брата.

– Пустышка! ОНИ сейчас будут звать его!

«Приступ, – догадался Гермий. – Сейчас у него будет приступ...»

Непонятное волнение охватило Лукавого. Такого с ним давно не случалось. Он хотел увидеть приступ Алкида, для этого он уже больше двух лет сидел в Фивах, но теперь, когда Гермий наконец дождался желаемого, – он растерялся. Растерялся, как обычный смертный!

Что бы сейчас ни довелось увидеть Гермия, какое решение ни принял бы он после – ему было страшно принимать это решение в одиночку!

«Хирон! – озарением сверкнула мысль. – Он должен видеть это! Он вне интересов Семьи – идеальный свидетель... Кроме этого, Хирон тоже Кронид, и его слово может что-то значить для папы!»

Гермий подхватил начавшего корчиться в судорогах Алкида на руки, мельком ощутив жар этого маленького тела, в котором, казалось, закипала чудовищная волна, пенясь расплавленным мраком.

– Ификл, держись за мой пояс! Живо!

Ификл не узнал голоса Пустышки, ставшего вдруг жестким и повелительным, но послушно уцепился за пояс друга.

Гермий шагнул вперед, открывая Дромос. Очертания дома, возле которого они стояли, подернулись туманной дымкой; нетерпеливо задрожали крылышки, прорастая из задников сандалий Лукавого...

Шаг.

Другой.

Ификл спотыкается, но пальцы его лишь крепче смыкаются на поясе Пустышки.

Третий шаг они сделали уже на Пелионе.

10

– Где мы? – испуганно спросил Ификл, щурясь от солнца, бывшего ему прямо в глаза. – Где это мы, Пустышка?

– На Пелионе, – коротко ответил Гермий, не вдаваясь в объяснения.

– Можжевельником пахнет, – похоже, Ификл сразу и безоговорочно поверил другу Пустышке и теперь пытался справиться с потрясением. – И еще травой... Алкид, ты слышишь? Мы на Пелионе... ты лучше кричи, Алкид, или дерись со мной, только не лежи вот так, как неживой...

– Заткнись! – оборвал мальчишку Гермий.

Ификл послушно замолчал, сглатывая противный комок, предательски застрявший в горле, и стараясь не сморгнуть повисшую на ресницах слезу – но она все-таки слетела, каплей соленой росы упав на стебелек травы, согнувшийся под этой неслыханной тяжестью.

Гермий даже не повернулся к нему, словно Амфитрионова сына больше не существовало на свете. Осторожно опустив наземь бесчувственное тело Алкида, Лукавый направился к кустам маквиса, те внезапно качнулись, расступаясь...

И навстречу Гермию вышел Хирон.

За спиной Лукавого еле слышно ахнул Ификл – что простительно мальчишке-смертному, то позорно для взрослого бога, но и Гермию захотелось отступить на шаг, когда он увидел непривычно суровое лицо кентавра. Косматые брови Хирона сошлись к переносице, как беременные грозой тучи нависают над горным хребтом, резко очерченный рот отвердел, в раскосых глазах обжигающе играли зарницы; под шелковистой кожей конского крупы и человеческого торса слегка перекачивались валуны мышц, четыре стройные ноги с тонкими бабками словно выросли в землю...

Выпрямившись во весь рост, Хирон был более чем на голову выше Лукавого – Ификлу он вообще должен был показаться гигантом, – и Гермию стоило немалого труда припомнить, что он, Гермий-Психопомп, – один из Семьи и бояться ему, в сущности, нечего.

Он попросту разучился бояться, и сейчас это ощущение поразило его своей новизной.

– Вот, – глупо пробормотал Гермий, не в силах отвести взгляд от Хиронова лица. – Вот, Хирон... это мы. Ты же говорил – если с ними, мол, то можно без разрешения...

Кентавр не ответил. Он пристально смотрел поверх Лукавого на неподвижно лежащего Алкида, и, словно в ответ этому взгляду, Алкид шевельнулся, хрипло застонав, – но стон внезапно перешел в такой же хриплый нечеловеческий смех.

Гермий дернулся, резко оборачиваясь, – в этом диком хохоте он услышал предсмертный вскрик фиванского учителя Миртила, упавшего на нож, который острием вверх был закреплен в самодельном жертвеннике. Свершилось жертвоприношение, кровь пролилась на камень, Павшие на миг вздохнули полной грудью, колебля медные стены Тартара; Гермий замешкался, вслушиваясь в гул преисподней, и пропустил то мгновение, когда Алкид кинулся на него.

От страшного удара головой в живот у Лукавого потемнело в глазах, он согнулся, хватая ртом воздух, и только руки его делали привычное дело, обхватив тело взбесившегося мальчишки и перебрасывая его... нет, совсем не так, как хотелось – через себя, по крутой дуге, чтоб только пятки мелькнули в воздухе, – а грубо, почти над самой землей, в последний момент едва удержав ставшего невероятно тяжелым мальчишку.

Алкид упал на бок, но тут же вскочил, кинувшись к растущему рядом орешнику. Молодой ствол толщиной с запястье жалобно хрустнул, когда Алкид вцепился в него обеими руками и изо всех сил ударил босой пяткой у основания; лопнула лента пятнистой коры – и, выставив перед собой палку с белым измочаленным концом, безумный ребенок двинулся на Гермия.

Не ведая, что творит, невинный и смертоносный, взбесившийся зверь, несчастный мальчишка, Безымянный Герой; дверь, в которую стучатся все – Тартар, Олимп, Зевс, Амфитрион, Гермий, Эврит, боги, люди, нелюди...

Израненная мишень многих хитроумных стрелков.

И Гермий второй раз за сегодняшний день вспомнил, что это значит – бояться.

...Лукавый никому и никогда не расскажет об этом случае. Промолчит о нем и Хирон, потому что им обоим – богу и кентавру – привиделось одно и то же: пурпурно-золотистое марево, в котором противоестественным образом смешивалось расплавленное золото и отливающий черным пурпур, а в нем, в сверкающем тумане, стояло двухтелое существо вне добра и зла, вне правды и лжи, вне Тартара и Олимпа – но равно способное быть и тем и другим.

Содрогнулся Пелион.

Не сразу понял Гермий, что происходит, а когда понял – кентавр уже второй раз взвился на дыбы, и передние копыта его снова били оземь, заставляя гору молить о пощаде. Вечное право сыновей Крона-Временщика: воззвать к Тартару, трижды ударив свою бабку Гею-Землю, воззвать и быть услышанным.

Только Зевс-Олимпиец бил молниями, Посейдон-Энносигей – трезубцем, а кентавр Хирон – просто копытом. И Гермий понял, почему Семье было важно, чтобы Хирон Кронид в дни Титаномехии оказался в стороне, не участвуя в битве. И Пелион потом отдал кентавру, и нелюбовь к Семье простили, и Стиксом клялись не поднимать на Хирона руку...

В третий раз ударили копыта, и конское ржание вырвалось из человеческого рта кентавра, громом прокатившись над Пелионом, – так ржал, должно быть, великий Крон, в облике лазурного жеребца несясь по земным просторам вслед за кобылицей Филурой, матерью Хирона. Вслушался в далекий Хиронов зов Тартар, Крон-Павший вслушался в ржание над Пелионом, горой недолгого своего счастья; и когда эхо трижды повторило голос кентавра – маленький Алкид выпустил из рук смешную свою палку и навзничь упал на траву.

Гермий посмотрел на него, потом на застывшего как изваяние Ификла.

И вновь на Алкида.

– Я был прав, – прошептал Лукавый, поднимая невидимый до того жезл-кадуцей, обвиненный двумя змеями. – Я был прав. Герой должен быть один. Жаль, что так получилось... Я сам отведу твою душу в Аид, мальчик, – это все, что я могу для тебя сделать. Ну что, пошли?

Камень попал ему в правое плечо, чуть не заставив выронить жезл.

Гермий зашипел, схватившись за ушибленное место; Ификл, всхлипнув, торопливо метнул второй камень, промахнулся и вытер слезы ладонью, размазав грязь по лицу. Потом мальчишка закусил губу и шагнул вперед, встав между братом и богом.

– Гад ты, Пустышка! – срывающимся голосом выкрикнул Ификл. – Гад ты... обманщик! А мы, мы-то тебе верили, дураки...

Он шмыгнул носом и присел на корточки, ухватившись за валун величиной с голову, на треть вросший в землю.

– Ты не бойся, Алкид, – Ификл стиснул зубы, не замечая, что из прокушенной губы идет кровь, и качнул неподдающийся валун с такой ненавистью, словно это была голова гада Пустышки, которую он собирался оторвать. – Ты только не бойся, ладно? Сейчас мы их уьем и уйдем отсюда... уйдем домой. Ты, главное, не бойся, ты помни, что ты – это я... а я не боюсь! Это пусть они нас боятся...

Тонкие руки натянулись, каменная голова недовольно заворочалась, из-под нее во все стороны брызнули растревоженные черви и мокрицы. Ификл охнул, приподняв выскальзывающую из рук ношу до колен, едва не выронил ее, но в последний момент перехватил камень снизу и неожиданно легко вскинул его себе на плечо.

Он не видел, как позади него вставал пришедший в себя Алкид: сперва на колени, изумленно моргая и переводя взгляд с брата на Гермия, вновь поднявшего жезл; потом – во весь рост, подобрав упавшую палку, недобро сощурившись и не задавая никаких вопросов.

После приступа Алкид нетвердо держался на ногах, но это не делало его похожим на больного ребенка – скорее он был похож на кулачного бойца, упрямо встающего после пропущенного удара.

Нет, Ификл не видел этого; просто камень вдруг стал вдвое легче, а смерть превратилась в нечто далекое и совершенно невозможное, как и должно быть, если тебе восемь лет.

«Или если ты сын Амфитриона, внук Алкея, правнук Персея и лишь потом праправнук какого-то там Зевса, тайком шастающего по чужим спальням», – мелькнуло в мозгу у Гермия, и от этой чуждой, крамольной, противоестественной мысли холодный пот выступил на лбу Лукавого.

Плечом к плечу, не по-детски ссутулившись, хмуро глядя исподлобья – Гермий с ужасом узнал боевую повадку Автолика, своего сына, – пред Гермием стояла Сила. Юная, неокрепшая, хрупкая до поры, впервые осознавшая себя Сила смотрела на друга, ставшего врагом, на первое в своей жизни предательство, и в глазах Силы сквозь застилавшие их слезы ясно читалось желание убивать, убивать навсегда, без пощады и сожаления... С нелепым камнем на плече, с наивной палкой в руках, перед Гермием стоял новорожденный Мусорщик-Одиночка, Истребитель Чудовищ – и он, Гермий-Психопомп, сейчас был предателем, подлецом, чудовищем, мусором, который следовало убрать или сжечь; и обвитый змеями жезл-кадуцей был в этот миг не менее нелеп и смешон, чем грязный валун или ореховая палка, потому что близнецы больше не видели в Пустышке друга – но они не видели в нем и бога.

Не Тартар – Лукавый сам поставил себя против этих детей сегодняшним предательством, как против равных, как змея, загнавшая в угол хорька; и Ананка-Неотвратимость лишила Гермия права решать и выбирать, оставив лишь право драться с теми, кто только что сказал: «Сейчас мы их убьем и уйдем отсюда».

Убьем и уйдем.

Впервые жезл показался Гермию невыносимо тяжелым.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.